Алексей Юрьевич Герман, Светлана Игоревна Кармалита

## Хрусталев, машину!

###### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Часов этак в пять утра 1 марта 53 года, будильника у Феди Арамышева не было, наручных часов, разумеется, тоже, но время было, похоже, к пяти, потому что трамваи еще вовсе не шли, да и окна жилых домов по Плотникову еще не зажглись нигде, только ярко светился танцкласс Дома культуры «Трудовые резервы», здесь электричество на ночь не выключалось, так вот, часов около пяти с истопником печей в «Трудрезервах» с Федей Арамышевым случился такой неприятный, устрашающий казус. Дело в том, что на углу Федя увидел заночевавший, присыпанный, соответственно, снегом, в февральскую ту ночь город буквально утопал в снегу, – так вот, Федя увидел заночевавший между сугробами «опель‑капитан». Большую трофейную немецкую машину с не отломанным до сих пор «крабом» на радиаторе. Зачем этот «краб» был нужен Феде, он не знал, но неотломанное надо отломать, это он знал точно.

Федя подошел к радиатору, поскользнувшись калошей на льду от спущенной из радиатора воды, посмотрел в пустые, отражающие темные дома стекла, проверил, на месте ли гнилой, болевший с вечера зуб, оглянулся на всякий случай, – народа, конечно, не было, – трехпалой своей ручищей прихватил «краб» и стал раскачивать машину. Да так, что рессоры «опеля» захрустели. Дальше‑то и произошло удивительное. На круглых загнутых обмороженных крыльях машины вдруг вспыхнули два крохотных слепящих синих огонька, тяжелые, обледенелые двери абсолютно бесшумно, как бывает только в детском сне, отворились, и оттуда выскочили двое, и эти двое принялись метелить Федю. Но как?! Они метелили Федю как‑то непривычно, незнакомо, не по‑русски, как‑то насмерть, что ли. Потом один схватил за шиворот, отрывая воротник, второй за ремень и проволокли через запирающийся вообще‑то скверик «генеральского», как его здесь называли, дома в парадняк черного хода. Причем комендантша Полина сама отперла парадняк, и глаза у нее были большие, выпученные, как у кошки.

Федю кинули под кучу примороженного песка для посыпки двора рядом с ломами, лопатами и метлами. Откуда ни возьмись прибежал еще третий с длинной папиросой, с валенком в руках – таким валенком отбивали печень, даже без синяка, Федя это знал и скорчился, но бить его не стали, а один из тех, кто метелил, присел над Федей на корточки и сказал:

– Сидеть здесь, пока за тобой не придут. Язык вырву, в кишку загоню. В лагерную пыль сотру, на луну отправлю.

По последним этим словам Федя понял, с кем говорит, и мелко закивал. Через здоровую щель он увидел, как две тени исчезли в заснеженном «капитане», как мужик с валенком бросил папиросу и помог Полине заложить колобашками двери обычно запертых генеральских подъездов, так чтоб те оказались полуоткрытыми, и, заглянув вовнутрь и наверх, сказал:

– На лестнице ковры, все им мало…

– Я все‑таки склоняюсь, что он к Левиту в сороковую, – сказала Полина, но ей не ответили.

И оба – и мужик и Полина – тоже пропали, опять спустилась тишина и ночь.

Больного зуба не было, и Федя быстро зашептал, мечтая, как поднимется наверх и уйдет по чердаку и как в гробу он сук видел, и твердо зная, что страх прижал его здесь в этой парадной и что он не тронется с этой кучи песка, пока за ним не придут, не посадят, не убьют или не отпустят.

Мимо черного «капитана» проехала незнакомая пятитонка с углем, и вдруг на прямых, ровно обрубленных ее крыльях тоже мигнули яркие синие лампочки.

В пустом «опель‑капитане» возник короткий смешок, и ночь опять воцарилась в Плотниковом переулке.

Задул предрассветный ветер, создавая в наушниках невыносимо пронзительный звук. Луна уходила. В двойное обледенелое стекло «опель‑капитана» с выпуклостью по внутреннему периметру было видно с легким искажением, как над городом потянулись вороны. Рация пробубнила, что объект вышел на вчерашний маршрут и сейчас появится.

У желтого, уже загаженного собаками столбика объект остановился, выковырял из калоши снег и теперь двинулся к машине по прямой.

– Отключаюсь, – сказал наушник, – внимание, – и щелкнул.

Это означало, что объект близко.

Он был не близко, он был здесь, ясно видный на фоне ярких окон «Трудрезервов», в расширенном книзу заморском пальто, шляпе с шерстяными ушами, зонтиком‑тростью, небольшой, почти маленький, с дерзко приподнятым плечом. Иностранца в нем выдавал именно зонтик – трофейных, завезенных из Европы вещей в Москве было предостаточно, но «каждому овощу свое время», и русский человек, без сомнения, постеснялся бы зимой появиться с зонтиком. Трость или не трость, а все ж таки зонт.

Шесть машин и два десятка сотрудников вели его сейчас по Москве. Три машины уже стояли по маршруту, три темными тенями проскальзывали в объезд по переулкам, чтобы остановиться впереди, вроде заночевать с потушенными фарами. Зашуршало, среди сугробов пробиралась кошка, она тащила сетку с газетными кульками.

Хотя корреспондент «Скандинавской рабочей газеты» Александр Линдеберг, находящийся в Москве в краткосрочной должностной командировке, был не суеверен, но поплевал через левое плечо и двинулся дальше.

Громадой дома среди небольших домов начинался Плотников переулок с шапками блестящего снега на подоконниках, с одиноким, белым на черном, печным дымом, редкими светящимися подъездами и одинокой черной машиной.

Скверик перед большим домом был отгорожен от улицы решеткой, но ворота, на счастье, открыты. Белые, яркие, как бывает только ночью, лампочки услужливо высвечивали над подъездами номера квартир. Подъезды были приоткрыты, все складывалось как нельзя лучше.

Линдеберг нашел, по какому подъезду значится квартира тридцать семь, переложил из бумажника в карман пальто фотографию и двинулся было к двери, но услышал шорох. Он ожидал увидеть кошку с пакетами, но никакой кошки не было. Шорох, однако, продолжался, и Линдеберг вдруг увидел, как из‑под низкой двери, очевидно черного хода, – высунулся прутик и шарит, пытаясь зацепить недокуренную папиросу, как прутик зацепил ее, подтянул, потом из щели возникла трехпалая рука с плоскими пальцами, пошарила и утянула папиросу за собой.

Двор был по‑прежнему пуст, улица тоже, окна незрячи, и звуков больше не было.

Линдеберг повернулся и быстро зашагал прочь, аккуратно притворив за собой витые железные ворота скверика.

Двойное спецстекло чуть увеличивает, объект смотрит прямо в него – интересен он себе, что ли?! В глупой шляпе с шерстяными ушами. Аккуратные усы в инее, голубые близорукие глаза будто заплаканы, ну никогда не скажешь, что враг!

Объект отвернулся и быстро ушел, потерялось лицо, возникла фигурка, она пересекла свет окна танцкласса и слилась с темнотой.

Щелкнула рация, и будто в ответ щелчку из тупичка выехала и прошла мимо «опеля» грузовик‑цистерна с потушенными фарами, длинная и тяжелая, как ящик.

Водитель в «опеле» щелкнул тумблером и доложил кому‑то, массируя при этом уши:

– Комендант дома информирует, что объект предположительно направлялся в квартиру сорок, ответственный квартиросъемщик Левит, – он подождал и сам себе пожал плечами.

Ему не ответили.

Я дернулся и проснулся. Кусочек трусов сбоку был мокрый, я на цыпочках поплелся в ванную, снял трусы, выстирал мокрый кусок и положил их на горячую батарею сушиться.

Сам сел в плетеное кресло и стал смотреть на себя в зеркало.

– Кто здесь? – бабушка подергала дверь ванной и пошла к себе. – Сны, сны, – сказал бабушкин голос и забормотал, – иже еси на небеси… да святится имя твое, да приидет царствие твое… Сереженька и Маша…

Мне шел двенадцатый год, и было пять с четвертью утра.

Трехпалая белая рука из‑под двери обескуражила Линдеберга, и, думая об этом, он дважды пожал плечами, отломал сосульку и стал сосать, как в детстве. Он так и шел с тростью‑зонтом в одной руке, сосулькой в другой, пока на широком перекрестке резко не остановился, потому что как раз в этот момент неведомая рука невидимого человека включила гирлянды лампочек над улицей. Сноп радостного желтого света залил перекресток. В эту же минуту из боковой улицы выскочила пятитонка, груженная углем, и резко гуднула, заставив Линдеберга метнуться влево. Слева из незаметного, нарушавшего строгую геометрию улиц проулка, как раз поперек выскочила грузовик‑цистерна, затормозила, взвыла клаксоном, пошла юзом, гремя цепями на колесах, и задней своей, обвешанной грязными скатами и резиновым гофрированным шлангом частью ударила Линдеберга.

Клаксон продолжал кричать, медленно одна за одной гасли гирлянды, и так же медленно зажигались окна в соседних домах, тяжко хлюпало в цистерне содержимое.

Линдеберг встал на четвереньки, из носа обильно текла кровь. Шляпа и зонт улетели в разные стороны. И он на четвереньках, грязно‑серый от снега, пополз к своей шляпе, но пятитонка с углем зачем‑то дала назад и придавила ее огромным колесом. Кровь толчками выбрасывалась из носа, оказываясь каждый раз впереди ползущего Линдеберга.

Бахнула дверца. Водитель цистерны вылез и сел на подножку.

– За что ж ты меня убил, дяденька… – негромко сказал он Линдебергу и поморгал светлыми глазками.

Линдеберг сел на снегу, закапывая пальто кровью из носа.

– Можете встать, товарищ? – голос был женский, Линдеберг видел только боты, блестящие резиновые боты, и им закивал.

– А он латыш? – сказали тяжелые кирзачи. – Лямпочка на лампочку загляделся…

– Я иностранец, – пронзительно сказал, взявшись за голову, Линдеберг, – но я корреспондент «Рабочей газеты» и сам бывший моряк… Лонг лив комрад Сталин. Позвольте пожать вам руку.

– Лучше ногу, – кирзачи свистнули и исчезли. Взревел мотор, огромное колесо освободило шляпу. Ее тут же подняли женские руки.

– Встань, дяденька, – водитель с цистерны вдруг заплакал, – я тебе и шляпу куплю, и пальто… Я пивка выпил…

– Я встану, встану… – мотал головой Линдеберг, – почему она в ботах зимой?

– Мы определенно можем встать, – сказал женский голос, – тут поликлиника не далеко… Только вставать лучше с закинутой головой, – голос крикнул притормозившей скорой: – Я врач из шестой, Мармеладова… Все в порядке, немножко пива выпил… – повернувшись к Линдебергу, добавила: – Я в ботах, а вы с зонтиком, а теперь поглядите, подо что попали… Ой, мамочка, – и захохотала, закинув голову.

Линдеберг увидел серые навыкате глаза, руки с маленьким кольцом, напяливающие на него грязную смятую шляпу и одновременно властно отгибающие голову назад.

Кто‑то невидимый опять включил рубильник, улица вспыхнула гирляндами, звездами, портретами, и Линдеберг увидел проплывающую под этими гирляндами вышку, укрепленную на автомобиле, там стояла баба в ватных штанах, и она помахала ему рукой.

В Плотниковой переулке было тихо, будто там на перекрестке ничего не случилось. Зажигались окна, одно, два, потом рация щелкнула, и голос, врубившись на полуслове, сказал по‑домашнему:

– Значит, пошабашили на сегодня. Благодарю за службу! – и так же на полуслове отключился.

В проулках и подворотнях стали заводиться машины, замерзшие сотрудники полезли в них греться. Последним прошел студебеккер с дровами. Недвижным оставался только черный «опель‑капитан».

В семь тридцать утра или через два часа после вышеизложенных событий целой серией отдельных будильников просыпалась наша квартира. Наша – это моего отца генерал‑майора медицинской службы Глинского, членкора, профессора и прочее, прочее, прочее. И как он сам добавлял в таких случаях, «ворошиловского стрелка». Просыпание это или вставание до выхода отца называлось у нас «наводнение в публичном доме во время Страшного суда».

Огромный наш профессорско‑генеральский и, соответственно, режимный дом был построен перед войной. В красного дерева нашу гостиную выходило целых шесть дверей. Пять – из цветных стеклянных витражей и одна, где витраж зашит черной кожей. Это кабинет отца.

Даже дверь на кухню, где спит домработница Надя, тоже был, хоть и битый, но витраж.

Завтрак у нас всегда один и тот же, яичница с колбасой и чай с молоком. Надька уже гремит кастрюлями на кухне, там же с газетой сидит шофер Коля, тощий и всегда с больным горлом, «свой человек еще с войны».

Первой из нашей семьи в гостиной появляется бабушка, папина мама, Юлия Гавриловна, с идеей что‑нибудь украсть из еды и спрятать.

Бабушка много что пережила, и, как говорит Коля, «черепушка у нее немного отказала» в смысле еды.

За ней появляется мама.

– Голода нет, Юлия Гавриловна, и не будет, – кричит мама. Бабушка глухая, слышит ровно половину, да и то из того, что хочет слышать. И всегда покачивает головой слева направо, будто она со всеми не согласна, – голод кончился раз и навсегда, а вот дизентерия будет у всех, – мама отбирает у бабушки еду, проверяет карманы фартука и идет в ее комнату вынюхивать спрятанное и протухшее.

Бабушка театрально кивает:

– Не могу побороть своих фантазий… Отправьте меня в богадельню. Коля, отвезите меня туда сегодня же. Уйди, предатель!

«Предатель» – это наша маленькая карельская лайка Фунтик, замечательно отыскивающая у бабушки спрятанную еду, если колбаса спрятана в шкафу, Фунтик облаивает ее, как белку.

На лай Фунтика из бабушкиной комнаты беззвучно появляются Бела и Лена Дрейдены, мои двоюродные сестры, дочери маминой сестры Наташи и дяди Семы. Мы русские, но дядя Сема еврей, и нынешним летом его выслали на Печору как космополита.

Бела и Лена ждут весны, когда там будет не так холодно и родители обустроятся. Они живут у нас без прописки.

– Девочки, почему вы не чистите зубы, у вас щетки сухие, – мама возвращается через прихожую и незаметно нюхает папину шинель и шарф. Коля смотрит себе горло в зеркало над камином, в зеркале он видит маму и говорит не оборачиваясь:

– Плюнь, Татьяна, не мыльный, не смылится.

– Дурак, – отвечает мама, – я нафталин проверяю.

Домработница Надька, как все на свете, кроме Коли, обожает отца и поэтому как‑то эдак, неуловимо, поводит плечом. Мама вспыхивает, раздувает ноздри, и начинается утренний скандал.

– Проверим‑ка, Надюша, наши счета, вчерашний базар и что ты там брала у «Елисеева»?

Коротко брякает звонок. Это пришли молочница и дворник. Дворник принес березовые дрова для каминов. Сопровождает их комендантша Полина, так уж положено в нашем доме. Так как дрова разносят по всей квартире, то на это время Бела с Леной уходят в огромный резной шкаф в маминой комнате, откуда убраны вещи, где стоят два стула и где они пережидают некоторые визиты.

Я загоняю Фунтика на кухню, иначе он скребется в шкаф.

– Кричит попугай? – спрашиваю я у Полины.

– Кричит, – смеется Полина, – петух бы уж сдох, а этот, надо же… – ей хочется смотреть не на меня, а на папину дверь.

У молочницы‑татарки большие, обшитые войлоком бидоны на лямках через плечо, от нее пахнет морозом и творогом.

– Задавись, – шипит между тем на кухне Надька и выкладывает из кармана под нос маме мелочь, – не, я лучше уголь грузить. Все, приехали. Станция Вылезайка.

Надька достает из‑под топчана и начинает складывать в чемодан необходимые для погрузки угля белый фартук, косынку и подаренный мамой довоенный габардиновый плащ:

– Где мои бурки? Ты у меня их брала… С Фунтиком ходить…

Мама закуривает и начинает искать Надькины бурки. Молочница и Полина с дворником наконец уходят.

– Неблагодарная дрянь, – говорит мама Надьке, – ты ведь и в милицию на девочек напишешь.

– А как же… – отвечает Надька.

– Ведь в тебе сердца вот настолько нет.

– А как же, – соглашается Надька, – но я тебе на прощание давно хочу сказать, Татьяна, над тобой насчет женского достоинства весь дом смеется, если хочешь знать…

Насчет всего, что связано с папой, маму трогать не следует. Так из нее можно веревки вить, но тут она звереет.

– Ага, – взвывает мама, разворачивается и крепким кулачком бывшей пианистки засаживает Надьке под глаз.

Тишина, кажется, и радио замолчало. У всех на лицах, даже на роже Фунтика, что‑то вроде доброжелательной улыбки. Черная кожаная дверь открывается.

Моему отцу сорок два года, он уже выбрит, пахнет крепким одеколоном, белая накрахмаленная военная сорочка, длиннющие ноги в брюках с генеральскими лампасами на американских полосатых подтяжках и немного брезгливое лицо, за которое, по выражению Надьки и комендантши Полины, «трех жизней не жалко».

Надька срывается с места и подает отцу стакан крепкого чая с коньяком и плавающим в нем толстым куском лимона. Вернее будет сказать – стакан коньяка, разбавленный крепким чаем. Отец, морщась, выпивает его залпом и, запустив длинные пальцы в стакан, достает и жует лимон.

Во всей квартире горят люстры.

За огромным нашим столом в гостиной завтракают только отец и мать.

Все мы – Лена, Бела, бабушка, я и Коля – едим на кухне.

Мама не ест, яичница перед ней не тронута, она курит, и пальцы ее мелко дрожат.

– Алексей, – спрашивает меня отец из столовой, – кричит попугай?

– Кричит, – отвечаю я, – петух бы сдох, а он кричит…

Отец берет телефонную трубку и набирает номер.

– Генерал‑майор Глинский, – говорит брезгливо он. – В моем подъезде неделю назад арестовали дельца из Морского регистра по фамилии Левит и опечатали квартиру вместе с попугаем. Попугай орет на весь дом. Квартиру следует вскрыть, а попугая сдать в зоосад…

– Обязательно скажи, что с этим Левитом лично не знаком!.. – подсказывает мама, затягиваясь дымом. Но отец ее не слушает, улыбается и уходит в свой кабинет.

На стене в кабинете две картины, нарисованные его больным с опухолью мозга. На одной – странное женское лицо через темно‑зеленую, почти черную листву, на другой – кривой лес, поезд из разноцветных вагонов и над ним ворона с человеческим лицом и в одном ботинке.

– Поцеловать курящую женщину, – цедит Лена, глядя из кухни на маму, – это то же самое, что облизать пепельницу.

Бела кивает, и Надька подливает им молока.

– Северное сияние, – говорит Лена, – создает эффект огненных мечей, пронизывающих небо, но весной мы его уже не увидим.

– Не надо его видеть, – говорит Надька, – тьфу на него. Видят папаша с мамашей, и довольно. И Бога благодарите, что генерал – такой человек.

Радио говорит о войне в Корее, о народных стрелках, охотниках за самолетами.

– Вот куда надо ехать, – говорит Коля мечтательно.

Синим цветом горит газ, булькает большая кастрюля с очень красным борщом, бабушка просыпала соль, курит мама, потирая рукой с папиросой висок. Ничего лучшего в моей жизни не было и не будет.

Наши окна ярко горят по всему углу угрюмого нашего дома. Идет снег, медленный и густой, накрывает белым покрывалом улицу, колеи машин, черный «опель‑капитан». Если приблизиться к окну отцовского кабинета, ближе, еще ближе, то за гардиной можно увидеть отца, смотрящего через снег на улицу, вниз в проулок. Отец протягивает руку и смотрит на «опель‑капитан» через тяжелый артиллерийский бинокль.

Этим же утром я чуть не опоздал на облом. На углу с Воздвиженкой повесили второй почтовый ящик, я не знал, куда опустить письмо, в старый большой или в новый маленький, решил в новый. Письмо лежало в «Зоологии», я прижал ухо к почтовому ящику, и мне показалось, что я чуть не угодил под военный грузовик с бочками, бочки покатились назад и расщепили грузовику борт.

Солдат‑шофер выскочил из‑за баранки и погнался за мной, на ходу выдирая ремень из ватных штанов. Я залетел в парадное, успел выдернуть фотокарточку, где я с отцом, я ее не зря наклеил на картонку, и выбросил руку с фотокарточкой навстречу огромным ватным штанам и мутному запаху керосина.

– Красноармеец, смирна‑а! – рявкнул я. – Мой папаша, гляди, генерал, тронешь, поедешь топить полярную кочегарку.

– Хорек, – сказал огромный шофер, раздумывая, что делать со мной, и сплюнул.

Я вытянул двумя пальцами из кармана десять рублей, подержал их немного на весу.

– Я из‑за тебя ногу вытянул, – сказал я и скорчился, – мне теперь до школы не дойти… Тащи вот теперь.

– Садитесь, – сказал солдат, подумав, – только деньги попрошу вперед…

Я отпустил десятку. Она легла на ступеньку рядом с его плевком. Он поднял, я прыгнул ему на спину, и он повез меня через двор.

Солдат почти бежал. Светало, во дворе школы десятиклассники разгребали снег. По крыше сарая ходила ворона с обрывком веревки на лапе.

– В Москве служишь, а подворотничок черный… Позор! – объявил я потному, стриженному под нулевку затылку и перебрал.

– Хорек, – солдат вывалил меня в сугроб.

Я схватил портфель и помчался дальше. И так полшколы видело, как я приехал на солдате. Это было чудно.

Там, где двор загибается, там наши, там облом. Полтора десятка окружили двоих – огромного толстого Момбелли спиной к спине с маленьким Тютекиным. Портфели на снегу кучей. Здесь много других куч, говняных, можно вляпаться.

– Ответите, – блеет Тютекин, у него палка от метлы, говорят, они с матерью у Момбелли кормятся.

– Ладно, ладно, не надо было вождей убивать, – Ванька Нератов тащит от трансформаторной будки охапку палок, – сегодня мы сами с усами. На твою, Тютекин, палку у нас двадцать.

– Вы статью сегодня в «Красной звезде» читали? – Момбелли отрывается от Тютекина, закладывает руки за спину и начинает вышагивать взад и вперед между кучами. Ноги он ставит навыворот, как профессор из фильма «Весна», ноги большие и ляжки большие, и не ботинки, а полуботинки. – Там про разницу евреев и сионистов, – Момбелли начинает качаться с пятки на носок, поднимает голову в очках вверх и цитирует по памяти, – «…так повторим же, чтоб наш голос услышали прогрессивные люди земли. Мы ни в коем случае не против евреев, мы против сионистов. Нации равны, мировоззрения нет. И мы говорим всем и каждому – смешивать эти две вещи преступно». Ну а дальше, – он переходит на скороговорку, – «…кто к нам с мечом придет…» – это можно толковать по‑разному. А мой отец служил на флоте, а на флоте не бывает сионистов. А ваши медали, – Момбелли устремляет на меня толстый палец.

– Вперед! – ору я. – За Родину! – и срываю с носа очки.

Ледышками по балде, палками под ноги ему, жирному, под ноги.

– Сало дави‑и‑и!

Ванька еще вчера сделал два лассо, мы кидаем их, как на быков или мустангов. Зацепили, вперед.

И тут же я получил чьим‑то ботинком в глаз, поднимаю голову, вижу через пелену тающего снега, как двое писают на Тютекина. Тютекин рыдает, Момбелли еще бьется.

– Вперед! – я прыгаю, чей‑то страшный вопль, будто ногу кому‑то трамваем переехало, и в ту же секунду какая‑то неумолимая, не терпящая возражений сила поднимает меня, ставит на ноги. Двор приобретает конкретные очертания, обмоченный и плачущий Тютекин, ребята, побросавшие палки, Ванька без шапки, с напряженным лицом и дурацким своим лассо из зеленого каната, и человек, который поднял меня за шкирку. Мой отец, генерал‑майор медицинской службы Глинский, в шинели, папахе, шофер Коля, а вон и наш шоколадный «ЗИМ». Папаша Момбелли в морской форме, но без погон, там, где погоны, нитка.

– Что это? – отец берет у отца Момбелли и протягивает мне на ладони медаль «За победу над Абрамом». Снежинки падают на медаль, размывая тушь на золоченной картонке.

– Надень очки, – говорит отец. Я надеваю.

– У тебя есть такая медаль?

Я киваю и достаю.

Отец долго рассматривает медали, шевеля губами, потом поднимает глаза на меня.

– Сними очки.

Я снимаю очки, и отец вдруг коротко, небольно, но очень страшно бьет меня по лицу.

– Еще бей, – кричу я с ненавистью, – убей, с тебя хватит… Не буду с вами жить, не буду, не буду. Нашел себе под силу.

Отец еще смотрит и еще раз коротко бьет меня по лицу. Я затыкаюсь. Он поворачивается, ссутулясь, и идет к машине. Коля растерянно пожимает плечами и идет следом. От машины Коля смотрит на меня, но вдруг исчезает, по‑видимому, отец крикнул. В наш закуток подтягиваются десятиклассники с лопатами – генерал зачем‑то приезжал, и бежит Варвара Семеновна, мой классный воспитатель, она сама толстая, и коса у нее толстая растрепалась, она держит ее рукой у лица. В другой руке лакированная сумка, из разорванного пакета сыплется на снег рис. Большая, в большом старомодном пальто с пелериной.

Момбелли‑отец кивает на Нератова:

– Гляди, петлю заготовил… Вешать нас, сынок, будет… – Глаза у него нехорошие, навыкате и жесткие.

Еще я заметил, что, когда отец садился в машину, он почему‑то резко обернулся в сторону двора и улицы, вроде бы позвали или что‑то увидел, но, отворачиваясь от улицы, на меня он уже не смотрел. Этот его взгляд я стал понимать много позже.

У клиники, выходя из «ЗИМа», Глинский обернулся. Медленно проехал трехосный «ЗИС», ахнув пустыми бидонами на снежном бугре, подтормозил и резко завернул к хоздворику. Солдаты подтягивали вверх на фасад жестяную пятиконечную звезду в лампочках.

– Прикажите солдатам срыть бугор, – приказал Глинский дежурному майору, – здесь сантранспорт бросает, – и двинулся к клинике, вышагивая длинными, как циркуль, ногами.

Поднявшись на второй этаж по устланной ковром лестнице, Глинский отдал дежурному офицеру шинель, но зашагал не туда, куда предполагалось. Здание было длиннющим, коридоры переходили в коридоры. Весь персонал был военный, под белыми халатами топорщились погоны.

– Смирна! Смирна! – коротко тявкал из‑за плеча дежурный.

Кончились палаты, он быстро прошел запаренным пищеблоком, за ним, за пищеблоком, ванны, где в таком же пару мужчины и женщины, потерявшие друг к другу интерес.

Здесь он давно не был. Подстанция, еще коридор, в конце – огромное окно в парк. В окно он увидел опять свою машину, увидел шофера Колю, идущего от машины за угол мимо снежного бугра. У бугра стояли майор и два солдата. Майор бил по бугру каблуком, а Коля вдруг посмотрел через плечо в сторону клиники и окна, так что Глинский сделал шаг назад. Это было смешно и глупо, не мог же в самом деле Коля знать, где Глинский сейчас.

Дежурный так и держал шинель и папаху. Из‑за его спины он увидел женщину в сером халатике – «киста нервного ствола». Женщина смотрела в глаза, будто хотела что‑то сказать, будто что‑то знает.

– Вам что?

Потрясла головой, шевельнула губами. Прекрасное лицо, предсмертное какое‑то.

Глинский толкнул дверь на лестницу.

– Открыть, – сказал он. Странное дело, решимость куда‑то уже ушла. Долго шел, что ли.

– Она с той стороны забита, товарищ генерал, трубы сгнили, там пар, как в аду…

– Как же вы туда ходите?

– Через прачечную, через бучильники… Через инфекцию тоже можно… – майор показал рукой изгиб, как можно через бучильник.

Глинский сел на корточки и посмотрел в замочную скважину. Сырой марш лестницы, желтая лампочка в пару, грязный мокрый ватник на перилах.

– Дайте топор, – сказал он, сунул руки в карман кителя, размял застывшие, будто скрюченные мышцы плеч и добавил: – Впрочем, откуда у вас топор… – и пошел назад.

Старший методист, Анжелика, забрала у дежурного шинель Глинского, достала из пакета новую папаху, положила на открытую форточку.

– Лучше морозом, чем бараном, – сказала она, – но каракуль – чудный.

Глинский привычно вымыл руки, и, давая полотенце, Анжелика незаметно поцеловала ему ладонь.

– Кольцо потерялось, – сказал Глинский, – не беда, но если увидишь…

У кабинета ждал подполковник Вайнштейн, вошли они вместе, но Глинский сел за стол, а Вайнштейн остался стоять у двери. В углу поскрипывала трансляция, зеленый ее глаз будто засел в зеркальной двери напротив. Начальники отделений начали рапорта, Глинский не слушал.

– Я прочитал ваше письмо, – сказал Глинский, – и сжег его. В выходе в отставку нет дискриминации. В клинике остается двенадцать лиц еврейской национальности…

– А сколько в клинике лиц мордовской национальности? – вдруг быстро и бешено спросил Вайнштейн. – Ты же знаешь, позавчера пропал Игорь…

– Мальчику семнадцать лет… самое время…

Вошла Анжелика с двумя стаканами чая с лимоном и замешкалась, увидев, что Вайнштейн стоит.

– Вызовите начальника первого отдела, особого отдела, кадровика и начальника АХЧ с топором, – медленно сказал Глинский.

– Я лучший анестезиолог города, – вдруг закричал Вайнштейн, – и вы это все знаете, все, все… О‑о‑о! Как вам будет стыдно когда‑нибудь, – и он вдруг потряс короткими пухлыми своими кулачками над головой.

Глинский потер переносицу и подошел к окну.

Коля возвращался к машине, в руках он тащил две сетки с крупными кочанами капусты.

– Смирна! – сказал Глинский, ощутив вдруг тихое и сладкое бешенство, почувствовав мышцы плеч и знакомый гул в затылке. – Кругом! Кру‑гом! – Выпучив глаза, он смотрел, как вертится, встряхивая толстым неуклюжим животом, Вайнштейн.

На третьем «кругом» Вайнштейн заплакал.

– Ша‑гом!

Вайнштейн, беззвучно рыдая, вышел, плотно закрыв дверь.

Анжелика проворно открыла сейф, налила в тонкого стекла стакан коньяку под край, как он любил.

– Плюнь, плюнь…

Глинский выпил медленно, как холодный чай. Анжелика опять стала целовать руку, опустилась на колени, положив его ладонь себе на лицо.

Глинский видел ее и себя в зеркальных дверях, ее затылок, ее тонкую, до болезненности отмытую руку и свое лицо. И в лице этом были только жестокость и недоверие.

Он запустил пальцы в стакан, достал лимон и стал жевать вместе с кожурой, брезгливо глядя на вздрагивающий затылок Анжелики.

По радио артист Журавлев читал Пушкина. Голос сверху, не затуманенный грустью, сказал по трансляции:

– Смерть, смерть, пришлите смерть вторую реанимацию…

– Смерть трубы повезла… сейчас, приедет… – отрезал голос дежурного, – ждите.

Трансляция щелкнула, а голос Журавлева вдруг поднялся и явственно и нежно произнес:

– А девушке в осьмнадцать лет какая шапка не пристала…

Он шел по коридору, клацая хромовыми своими сапогами, не в халате – в мундире, так и не меняя брезгливого выражения, будто все еще жевал лимон с кожурой. Тот же коридор, те же короткие «Смирна!», нелепые посреди страданий.

Свита из шести офицеров и Анжелики с накрахмаленным его халатом на руке старалась попасть в ногу и подделаться под выражение его лица. В каменных, крашенных шаровой краской больничных коридорах все они напоминали атакующий взвод. Начальник АХЧ, тоже в белом халате поверх ватника, нес топор. Только у особиста лицо скучающее, глаза прикрыты, будто не с ними, будто попутчик. Опять большое окно. За ним вечернее закатное солнце на морозе, и опять эта же «киста нервного ствола» в сером байковом свалявшемся халате, смотрит, смотрит в лицо. В исколотой руке маленькая книжка. На французском.

– Вскройте дверь, – сказал Глинский, – ну! И курсантов давайте сюда.

– Стул генералу, – приказал особист, – и чаю покрепче, живо! – И с тем же выражением лица, будто не замечая, как вздернула подбородок Анжелика, стал смотреть, как толстый подполковник раскачивает топором дверь.

Курсант принес стул. Глинский сел, пейзаж за окном сместился. Вот оно. Маленькое желтое ДКВ и его, Глинского, «ЗИМ» нос к носу. И ни Коли, никого. И не спросишь, и в форточку не крикнешь. Гладкая желтая полированная крыша ДКВ, и в небе вечерние облака и красное отражение солнца.

Треск, с той стороны двери отвалилась доска. Двое налегли, за дверью клубы пара, пар над ступенями вниз и под потолком будто дыру образует, там душно, внизу в пару голоса, матюг.

Пошли, пар, пар, красная лампочка, как бы так кончалась жизнь, о чем это он?

Направо дверь, дальше опять ступени вниз, и Глинский туда, в белое марево:

– Смерть, ты сюда трубы привезла?

– А кто меня кличет?

– Начальник клиники генерал‑майор Глинский.

Кашель. Из пара возник человек в отсыревшем бушлате, щербатенький, с насморком, с простудой на губе.

– Я – смерть, товарищ генерал, – поморгал.

– Гиньоль какой‑то, – засмеялся голос сзади, – мистика…

– Я приказал, – сказал ровно Глинский, – смерть на посторонних работах не занимать. Это безвкусно.

Сзади засмеялись и замолчали.

Пар кончился резко, как на срезе. Белые халаты будто проявились. Дверь, коридор, поворот. Здесь местная травма, даже больные не в пижамах, в своем. Солдату бочкой спину придавило, такой уровень. Еще поворот, отдельная палата, обитая одеялом дверь.

Догнал медбрат, у него чай в оловянном подстаканнике, плавает зеленый лимон, отдает Анжелике, та не взяла, руки за спину, Глинский забрал сам. Все знают, что это почти не чай, коньяк, и что у генерала запой, а вроде тайна, надо мешать ложечкой.

– Курсанты здесь? – Глинский сам слышит свой звенящий спокойный голос.

– Может, обойдемся, – отчего‑то веселится особист.

– Нет, не обойдемся, – Глинский чувствует, как собственный голос бьет его по ушам.

– Ну к чему такое представление, Юрий Георгиевич?

На секунду они сцепились глазами, ласковое лицо особиста абсолютно мокрое.

– Больной Стакун, поступил 25 февраля распоряжением 03/801, прибыл вчера, история болезни прилагается.

Стакун лежал в отдельном обшарпанном боксе, даже в этом боксе он был отделен высокой несвежей ширмой, которую ставили у совсем тяжелых, отделяя от остальных. В боксе же никого другого не было, на подоконнике лизала раму толстая больничная кошка. Дальше был знакомый сквер, сугроб вровень с подоконником да за оградой две машины, как знак беды.

Стакун был худ, безбров, голубоглаз. На голове не волосы – какой‑то светлый пух. И странно, болезненно напоминал самого Глинского. Все другое не его, Глинского, и при этом похож. Глинский услышал, как задребезжала ложечка в стакане, потом зачем‑то собрал и сдвинул в угол ширму, аккуратно, не спугнув кошку. Взгляд у Стакуна был тяжелый, спокойный. Таким взглядом не смотрят на врача, таким взглядом может смотреть врач на больного. Нешумно входили курсанты, кирзачи из‑под белых халатов.

– Как вы себя чувствуете? – Глинский хлебнул чаю‑коньяку, поболтал ложечкой и уставился в Стакуна, будто в запотевшее зеркало.

– А ты? – Стакун смотрел приоткрыв рот.

Бывали минуты в жизни, когда Глинский тяжелел, нежное его лицо наливалось кровью, будто стекало, являя другого человека, сильного, глумливого и неприятного. Но поразительно так же сейчас менялось изможденное лицо Стакуна, наливаясь кровью и угрозой.

Где‑то в коридоре пронзительно закричал детский голос.

– Больно, больно, больно, – кричал ребенок.

Глинский, как давеча, вынул двумя пальцами лимон, прожевал кривясь и так же кривясь взял за шиворот кошку и через головы курсантов выбросил ее из палаты. Пожалуй, он перебрал с коньяком. Ему вдруг показалось, что это кошка кричит «больно».

– Перед нами удивительный случай, – посмеиваясь, сказал Глинский, – свинцовое отравление в результате повреждения пищевых котлов и воспаление оболочек в области лба, терапевтические травмы, не совместимые с жизнью. Однако перед нами практически здоровый человек. Облысение головы и бровей, судя по загару, произошло задолго до отравления… Что это – феномен практически не проведенного курса лечения?

Глинский шагнул вперед и аккуратно снял с больного одеяло. Стакун был в нечистой короткой больничной рубахе и ярких вязаных шерстяных носках. Подштанников не было. Простыня под ним была в латках.

– В истории болезни значится, – Глинский поднял вверх палец, – что Стакун был помполитом отдельного железнодорожного батальона Сахалинской дороги в 32–35 годах. Лекпомом того же батальона в этих годах был я. Но мы не встретились.

Радио передавало «Клуб знаменитых капитанов». Барон Мюнхгаузен нес какую‑то околесицу о Волго‑Доне.

– Ты пьянь запойная в генеральской форме, – вдруг медленно и ясно произнес Стакун, подтягивая длинные белые слабые свои ноги, – а может, это я тебя не видел в батальоне… А может, это и не ты был в батальоне, а может, это я был лекпом Глинский в батальоне… – Стакун встал, голый ниже пояса и длинный, и пошел к курсантам. И вдруг рухнул лицом вниз, носом об линолеум, так что кровь брызнула на сапоги. Дернулась белая гладкая, в татуировке, ягодица.

– Типичный лобник, товарищ генерал… психопат, – громко сказал молодой картавый голос, по‑видимому курсант.

– Перевести в психиатрию, – медленно сказал Глинский. И увидел вдруг шофера Колю, который со счастливой улыбкой махал через окно ему рукой.

– Пульс нитевидный, зрачки не реагируют, – сказал у ног голос ординатора.

Глинский резко сел на корточки, но вдруг его качнуло. Он уперся рукой в пол и тут же очень близко перед собой увидел потное бабье лицо особиста и почувствовал жаркое гнилое охотничье его дыхание.

– Вы не в форме, вам надо немедленно вернуться в кабинет. Товарищи курсанты, кру‑гом.

Особист боком отжимал его от Стакуна.

Поднимаясь, Глинский увидел лицо Вайнштейна, потом жирный его затылок и понял, что Вайнштейн быстро уходит, почти бежит по коридору прочь.

– Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна… – бормотал Александр Линдеберг.

Тучи действительно мчались в вечерних сполохах трамвайных дуг и фонарей, хотя, может, мчались и не тучи, а сани, впряженные в тройку темных толстозадых коней, украшенных искусственными цветами. И тройка эта, с бубенцами и возницей в длиннополой военной шинели, неслась по аллеям пустой в этот час зимней Выставки достижений. Высокие сугробы то синели, то золотились под электричеством. Обледенелые малахитовые фонтаны, каменные и резные дворцы, скульптуры, павильоны и павильончики, вольеры с диковинными зверьми – все это уходило в темноту и было дивно, странно и прелестно. Играла музыка, впереди неслась еще одна тройка, там морской курсант с палашом на коленях и девушкой в лисе.

– Ах‑ах‑ах! – заливалась девушка.

– Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна…

– Не то читаешь, друг, – крикнул Василий, шофер грузовичка‑цистерны, сбившей Линдеберга в сегодняшний предутренний час.

С ним да с милой докторшей Соней Мармеладовой и мчались они сейчас, на конях.

– Это тройка, образ России‑матушки, – Василий глотнул водки из бутылки и отдал бутылку Линдебергу, – и, косясь, постараниваются и дают нам дорогу другие народы и государства… Понял мысль?

Нос у Линдеберга был забит тампоном, а потому велик и будто приклеен к голове. Он захлебнулся водкой.

– Иные…

– Что?

– Иные народы и государства…

– Может быть, – обиделся вдруг Василий, – хрен с ним. Смысл один, – и дал вознице пятьдесят рублей.

У входа в павильон дымила газолином посольская машина, и Линдеберг расстроился.

– Вот и нашли нас ваши, – сказала докторша, улыбнулась и ловко выпрыгнула из санок.

Линдеберг тоже вылез, после саней земля мягко двинулась из‑под ног. Но пошел он не к павильону и машине, а в сторону за сугроб, к украшенным праздничными флажками клеткам. Там постоял, глядя в желтые глаза двух тесно обнявшихся обезьян. Бороды у обезьян были в инее.

– Шимпанзе сухумские, морозоустойчивые, автор – профессор Цервеладзе, – служащий посольства, высокий, в огромных, очень новых валенках, надел очки и читал таблички, – ореол распространения будет включать Западную Сибирь. Однако, – он как будто только сейчас рассмотрел лицо Линдеберга.

Оркестр играл вальс, на деревьях устраивались вороны, засыпая все легким снежком. Линдеберг, не принимая тон посольского, вскинул подбородок, достал из кармана початую бутылку водки, сделал большой глоток, нарочно очень русским жестом вытер горлышко и протянул секретарю.

– Раздражаетесь, – сказал посольский, – это ваше право. Но то, что вы пьянствуете на выставке, мне позвонили из милиции, – он улыбнулся и тоже выпил водки из горлышка, – такая страна.

Они прошли немного к павильону. Секретарь бил палкой по веткам, сбивая снег.

На огромном фанерном щите первобытные люди охотились на провалившегося в ловушку мамонта. И первобытные люди, и даже мамонт, скорее всего посредством большого гвоздя, были награждены огромными половыми признаками.

– Если это тоже проект Цервеладзе и ореолом распространения станет Швеция, – сказал посольский, кивнув на щит, запнулся и захохотал: – Ну‑ну‑ну… – это уже относилось ко вконец обозлившемуся Линдебергу, к его вздернутому подбородку. От машины спешил шофер с ботинками в руках. Пошел снег, крупный, медленный и пухлый.

В жарком ресторане‑павильоне за огромными синими окнами этот же снег кружил голову. Казалось, что снег ложится на скатерть, на плечи Сони и посольского, на стриженые макушки вовсе незнакомых людей.

Василий шел от столика к уборной.

Линдеберг еще глотнул водки, сунул в рот целое вареное яйцо и неловкой, будто в танце, походкой, отведя руку, двинулся за ним.

Но в уборной Василия не было. Мирно текла вода, зеркала в обрамлении золотых амуров, над которыми тоже потрудился гвоздь художника, отражали обе пустые кабинки. Линдеберг намочил платок, прижал ко лбу и ощутил, как ледяная вода потекла по небритой щеке.

– Ты чего, Саш? Плачешь? – Василий стоял позади.

Лицо Линдеберга было залито водой, он крутанул голову, его качнуло. Встреча с этой долгожданной страной, водка ли, удар ли по голове, вечер и эта дивная женщина там за столиком, или же вся мучительная жизнь из поисков и тупиков, только Линдеберг вдруг всплеснул руками и, давясь, заплакал, упершись вовнутрь нечистой раковины. Он ничего не мог объяснить и поэтому выдавил самое бессмысленное:

– Скажи что‑нибудь по‑русски, Вася…

– Матюгнуться, что ли?.. – Василий заморгал добрыми глазками, закинув короткие ручки за голову, и вдруг, ловко перебрав адски начищенными сапогами, пошел вприсядку.

– Увези меня, – сказал Линдеберг, открыв на всю мощь кран… – Будем ехать, ехать и ехать… – он уронил очки и пополз за ними по полу, и Вася пополз тоже.

– Мне, вообще, на Плющихе подвал откачивать… – сказал Василий.

Раковина стремительно наполнилась, вода вдруг обрушилась на пол и на шею Линдеберга.

В уборную всунулась голова секретаря.

– Колоссально, – сказала голова и скрылась.

Василий встал, взял Линдеберга за руку, открыл дверь деревянного побеленного шкафа и, как в детской сказке, шагнул туда.

Они оказались на кухне напротив огромной топящейся плиты с гигантскими кастрюлями в пару и посреди удивленных поваров.

– Не буду, ай, не буду… – пронзительно закричал голос и тут же перешел в крик петуха. Открылась дверь, обнаружив не то курятник, не то кабинет. Из‑за больших клеток с курами там торчал письменный стол с телефоном и под зеленым сукном.

Тут же возник пузатый грузин, держащий за ухо тощего усатого, прыщавого, тоже грузинского, паренька лет семнадцати. Второе ухо паренька было неправдоподобно красное.

– Писки прицарапывает, – сказал грузин, не удивившись Линдебергу, и поднял огромный палец: – Ну где ни увидит, там прицарапает, и притом неправдоподобного размера. Исправление намечаешь? Ну иды! – Грузин царским жестом отпустил подростка, откуда‑то из‑за клеток достал флейту и заиграл. Под эту флейту, под кричащего петуха у огромной плиты они выпили почему‑то по рогу вина, закусили печенкой прямо с невероятной величины скворчащей сковороды, и через узкую, обдавшую вонью дверь Линдеберг шагнул во двор. Знакомый грузовик‑цистерна дал задом. Цепная шавка бросилась Линдебергу в ноги. Линдеберг, заскользив на подножке, прыгнул в машину и опять увидел Соню.

– Вы забыли меня и свой зонтик, – раздраженно сказала Соня.

Рванулись навстречу золотые ажурные арки в лампочках, пустая карусель с одинокой женской фигурой на верблюде, курсант с палашом в снегу.

– Ах‑ах‑ах!

Флажки, малахитовый застывший фонтан, огромная фигура Сталина со спокойно поднятой рукой, на которой искрился голубой снег, вздыбленный в небо дом‑гора, ворота, огонь, счастье, свобода.

– Свобода, – сказал Линдеберг и поцеловал Сонину руку, – свобода, Вася.

– И под звездами балканскими, – затянул вдруг Вася.

– Ты в Болгарии был?

– Был.

– И в Берлине был?

– И в Берлине.

– Как же ты успел, Вась?

– Да в госпиталях не лежал…

Василий прибавил скорость. Город рванулся навстречу в переплетениях огней. Машину бросало, нестерпимо брякало где‑то под цистерной ведро.

– Осторожно, осторожно…

– Смелого пуля боится, смелого любит народ… – не то орал, не то пел Василий.

Опять пошел густой снег, закрыл стекло, будто шторой. Маленький дворничек с визгом пробивал в этой шторе щель. Неожиданно тряхнуло. Соня пронзительно завизжала, схватила Линдеберга, зачем‑то закрыла ему сумочкой лицо и глаза. Сквозь дужку сумочки Линдеберг увидел, что стекла больше нет, а с ним и снега, уже после почувствовал удар, машину повернуло, он увидел несущиеся прямо в глаза гирлянды лампочек, борт грузового трамвая, ощутил другой удар и тяжелые всхлипывания воды в цистерне за спиной. И внезапно стало так тихо, как не бывает на земле.

– Тю, – сказал Вася, – ах, незадача, Александр. Все едино, доконал меня сегодня Бог. Сажусь… Эту водку не закутаешь… – и, выскочив, маленький, кривоногий, побежал вдоль машины.

– Вылезайте, ну вылезайте же, – Соня рвала Линдеберга за рукав.

– А он? – голова и нос болели, на плечи навалилась тяжесть. Линдеберг плохо соображал.

К машине бежали люди, подбежав, чего‑то смеялись.

– Пойдем, идиот, – вдруг зло выдохнула Соня и, выскочив из кабины, стала тянуть Линдеберга за брючину и рукав, – вылезай, ну вылезай же, осел.

Они вылезли и почему‑то побежали в подворотню.

– Я вернусь, – сказал Линдеберг и сплюнул сквозь зубы, как в детстве. – Нехорошо.

– Что нехорошо?! – лицо у Сони было жесткое, какое‑то оскаленное, потное. – Он на «говновозе» Гоголя наизусть читает… Шестьсот рублей в зоосаду скинул, мою зарплату… В госпиталях он не лежал, сука! А зачем ему лежать?

Соня повернулась и почти побежала в глубь двора, где бесконечными поленницами лежали дрова.

– Если он полицейский, – крикнул ей вслед Линдеберг, – то большой неудачник. – И, все продолжая трезветь, Линдеберг потащился следом. Прошли еще двор, еще дрова.

– Почему столько дров, Соня?

– Потому что мы дровами топимся… Покуда город‑солнце строим.

Завернули за угол. Свет, витрины, дома до небес. Вошли в подъезд. Высокая мраморная лестница, широченная красная дорожка, огромное чучело медведя, люди с узелками да с чемоданчиками.

– Где мы?

– Идем, идем…

Выше, выше, коридорчик. Обернулась Соня.

– Не обращай внимания теперь. Ты в калошах, ну и хорошо, – взяла за руку, потянула, распахнула дверь.

Все мог предполагать Линдеберг, но застыл на пороге, и не рванула бы она его вперед, не сдвинулся бы. Они были в бане. С мокрыми склизкими полками, кипятком, шумом, паром, тазами. И в пару, и в хлюпанье воды двигались, перекликались, смеялись и ссорились голые мужские фигуры. Они не обращали на него внимания, и он прошел через все это в шубе и в калошах, выставив вперед подбородок. Опять коридорчик в тусклом свете грязной электрической лампочки, еще одно медвежье тело, совсем вытершееся, с торчащими из брюха ломаными рейками. По всему коридорчику заляпанная мыльная дорожка, мальчик в шубке и на прикрученных к валенкам коньках прошел навстречу и исчез в банном пару. Наверное, здесь были когда‑то отдельные ванные кабинеты, нынче же здесь жили. Соня открыла замок, и они зашли в маленькую комнату, неожиданно чистую и уютную, разгороженную шкафом, с большущим абажуром и крошечным низким оконцем.

– Умойся и обсохни. Деньги на такси есть?

Тут только Линдеберг увидел, что брюки его залиты водкой, калоши в мыльной пене.

За стенкой громко кричали два голоса, мужской и женский.

– Поторопись давай, – сказала Соня, – я сутки отбарабанила, потом с тобой заставили…

– Почему заставили?

– Нет, держите меня. – Соня включила радиоточку. – Я как вправлю нос или грыжу заштопаю, сразу с пациентом в «Метрополь» до утра…

– Почему так зло, Соня?! Я старше тебя и много видел… Трудно, но смени горечь… И главное, поверь, все равно, как бы ни было, – он даже кулаком потряс, помогая словам, но его качнуло, и, ощущая, что эффект сказанного погублен, почти крикнул: – Все равно, если не у вас, то нигде.

– Значит нигде, – просто сказала Соня и пожала ватными острыми плечиками.

Огромный с деревянной ручкой кран плюнул вдруг паром и протяжно засвистел. Они одновременно прихватились за него.

– Здесь ба‑аня, – сказала Соня, – здесь ад подключен, – и засмеялась.

– Почему тебя с такой фамилией назвали Соня? – спросил Линдеберг.

– Родители – провинциальные врачи, и вкус провинциальный.

Они послушали, как кричит теперь мужской голос, что он не позволит низкой твари…

– В бане живешь и не моешься…

Что‑то там упало. То ли мужчина бил женщину, то ли тащил ее за волосы.

– Значит, нигде, – повторила Соня и опять надавила на шипящий кран, вернее, на руку Линдеберга. – Мучаем друг друга и всех мучаем… Зачем? За что? И все хвастаем, хвастаем… болтаем, болтаем… – она взяла себя за виски, – теперь вот ты приехал в мягком вагоне меня поучить…

– Я самолетом, – совсем глупо сказал Линдеберг.

– Скидывай штаны, донжуан несчастный. Я у печки просушу. Пальто вон надень, бабушкино…

– Почему донжуан, это при чем?

– А кто ж еще в пять утра по городу шляется и под машины залетает по два раза в сутки… О, как мне тяжело пожатие каменного говновоза, – и вдруг захохотала так, что Линдеберг тоже не выдержал и стал смеяться, придерживая рукой нос.

– Это было дело, просьба… В общем, важный не для меня пустяк, – Линдеберг понимал, что важно ей сейчас объяснить, но она замахала руками.

– Не хочу, не хочу, не хочу… Не хочу ничего знать, не хочу ничего слышать… Ври, что хочешь, правду не говори, – она еще раз замахала руками над головой, раз и навсегда отменяя эту правду. И ушла, кинув ему действительно бабушкино пальто. Он услышал, как, перекрывая скандал за стеной, она увеличила громкость радиоточки. Чиркнула спичка, полумрак комнаты высветился горящей газетой, и сразу же, напомнив детство, загудела печь. Когда он вышел из‑за шкафа, Соня сидела на тахте со сморщенным, как от зубной боли, лицом.

В бабушкином пальто, с голыми ногами Линдеберг почему‑то не чувствовал себя неловко. При всей неказистой своей внешности, он знал свое тело, крепкое и тренированное. Но Соня вовсе не глядела на него, а глядела на стенку напротив. За стенкой скандал кончился. Мужской голос что‑то просил, потом сдвинулась мебель, и сразу же раздался женский стон, стон этот становился все ярче, явственнее, мужской же голос говорил что‑то неразборчивое, и только после из этого неразборчивого Линдеберг выделил слова.

– Нор‑р‑рмально, – говорил мужской голос. – А так! Нор‑р‑рмально, а так?

Женские стоны били в голову, ложились на плечи. Соня взялась руками за лицо, за уши и пошла по комнате взад и вперед. Потом вдруг опустилась на колени и стала целовать Линдебергу руку, этого он никак не ожидал, в мечте представить не мог. Он тоже опустился на колени рядом с тахтой и тоже стал целовать ей руки. Так они стояли на коленях рядом с тахтой на полу, на облупившейся краске, целуя друг другу руки. Вдруг поняв, он замотал головой.

– У меня ничего не выйдет… Ты мне слишком нравишься… И тогда у меня ничего не выходит, – сказал он в отчаянии.

– Все выйдет, все, все… А не выйдет, и бог с ним! Бог с ним! Так страшно, Сашенька, – она стала гладить его и вдруг тихо запела так, что он дернулся, будто кто‑то схватил его за кадык. Она пела ему то, что пела ему его русская няня. И что он забыл навеки и сейчас вспомнил.

– Саня, Санечка, дружок, не ложися на бочок, придет серенький волчок… – она улыбнулась и допела, – схватит Саню за бочок.

– Мне это пела в Гельсингфорсе моя русская няня, – Линдеберг встал, легко поднял ее на руки.

– Подожди, – сказала она, – мы же и вправду не дети. Ну отвернись хотя бы.

Он повернул голову, увидел печь, и под стоны незнакомой женщины и сиплое «Нор‑р‑рмально, а так?» он навалился на нее, увидел белое запрокинутое лицо, тень высоко поднятых ее ног и услышал ее стон и свой и успел подумать, что так ему никогда не было и что таким он не был никогда.

– Не бойся, – вдруг крикнула она, – у меня не может быть детей, не бойся.

И зажал ей ладонью рот, испугавшись, что те, за стенкой, услышат.

Солдаты тщательно вытирали сапоги о мокрые тряпки, вернее, о куски старого нарезанного одеяла. Полина дождалась кивка отца, распорядилась заносить. Два солдата занесли огромную жестяную «восьмерку» в лампочках и потащили через гостиную и мамину спальню на балкон. Долго еще тянулись шнуры.

– Кто бы Лешке пятерки принес, – сказала Надька и пошла задергивать длинным копьем с кисточкой, которое отец привез из Китая.

Полина, дуя на обожженный палец, тоже ушла за балконную дверь под снег на морозец. Там они крепили цифру «8», наш дом украшался к празднику.

За длинным столом в гостиной, как‑то неловко поджав большие ноги, сидела моя классная воспитательница Варвара Семеновна Бацук, крупное, полное лицо Варвары Семеновны, как всегда, румяное, глаза не мигают, и толстая коса вокруг головы. На серебряном подносе лежали мои два дневника, истинный и ложный, медаль «За победу над Абрамом» и вовсе мне не принадлежащий плакатик «Давлю сук». Отец, вытянув длинные ноги в лампасах, сидел в качалке и внимательно на свет изучал подпись на записке. Еще на столе стоял торт, немецкие конфеты, да на спиртовке кипел кофе.

– Чаю, – сказал отец и отложил записку.

Надьку смело.

– На стекле подписывал? Что ж, купеческие сынки так подделывали векселя, – лицо отца сегодня все время заливало потом, и он вытирал его накрахмаленной салфеткой.

– По‑моему, у тебя температура, – сказала мама отцу сухо.

– Купцов нет, векселей тоже, зато есть ремесленные училища… – отец зажег записку от трубки.

Мама рванула на шее крупные бусы, и они, как конфеты, покатились по ковру.

– Что за фантазии, – сказала бабушка и стала мелко качать головой.

Надька притащила отцу чай на подносе.

– Стало быть, мне следует подписать истинный дневник, – отец хлебнул, поискал ручку.

Мама пошла в кабинет.

– Может, мне его высечь, – отец тоскливо поглядел мне в лицо, – уши красные, глаза лжеца, лицо дауна. Таким только Абрамов бить…

Было видно, как мама в кабинете ищет ручку в кителе отца, как нашла что‑то не то и таким надоевшим мне жестом взялась рукой за висок.

Отец был то ли болен, то ли совсем пьян, хотя это видели только близкие. Варвара смотрела на него так же затравленно, как смотрели на него почти все женщины.

– Хотите моего чаю? – медленно спросил ее отец, и Надька тут же скрестила руки на груди.

Брякнул звонок, Надька не двинулась, и я пошел открывать.

На лестнице, почти вплотную к двери, стоял какой‑то прибалт, он был с длинным зонтом, из носа прибалта торчала вата. На площадке ниже стояла молодая женщина в блестящих резиновых сапогах, она стояла спиной ко мне и смотрела в окно.

– Могу ли я видеть военного врача Юрия Георгиевича Глинского?

Прибалт, мы их звали «лямпочка», говорил без акцента, пронзительно и немного каркал. Он хотел о чем‑то попросить меня, но не попросил. Отец в тапочках появился сзади неслышно. Когда он увидел прибалта, он почему‑то хмыкнул. «Лямпочка» вздернул подбородок, я опять увидел вату в носу, и сказал негромко и четко:

– Юрий Георгиевич, я узнал бы вас даже в толпе. Я привез вам привет, объятия и поцелуй, и слезы радости, что вы оба живы, от вашего брата Сергея Георгиевича Глинского. Он профессорствует в Стокгольме. Вот адрес, я понимаю, не сейчас, но… Жива ли ваша матушка?

Событие это явно отводило удар от моей головы хоть на время. Я обрадовался и глянул на отца.

Отец был абсолютно трезв, прям и бледен. Казалось, что он не в тапочках стоит, а в сапогах. Он медленно покачал головой.

– Ну уж нет, беру за фук. У меня нет никакого брата ни в Стокгольме, ни в Рязани, – отец нехорошо засмеялся и потрогал «лямпочку» за кончик носа, – тяжелая у тебя служба, верно?! Бьют иногда…

– От Гули, – тихо сказал «лямпочка» и вдруг стремительно выбросил прямо в лицо отцу руку с небольшой бледной фотографией – какие‑то трое детей на берегу моря и большой стул.

На лестницу боком выходили солдаты с нашего балкона. Полина на ходу бинтовала палец. Увидев «лямпочку», она как на стекло наткнулась и побледнела так, что стала видна пудра.

– А ну пошел вон, говно, – медленно сказал отец «лямпочке». – Полина! – рявкнул он ей вдогонку. – Почему в подъезде шляется кто угодно?

Женщина в резиновых сапогах внизу стояла так же неподвижно, спиной, будто все ее не касалось.

Отец взял меня за плечо, втолкнул в квартиру и захлопнул перед «лямпочкой» дверь.

В гостиной было все так же, ничего не изменилось, но отец вдруг погладил меня по голове.

– Я пойду, – торопливо сказала Варвара Семеновна, она опять смотрела на отца не мигая. – Алеша мог бы быть хорошим мальчиком, эти медали так не вяжутся. Можно я возьму маме конфету к вечернему чаю?..

Отворилась дверь резного шкафа в маминой комнате, Бела с Леной, видно, запутались в хлопках входной двери и вылезли раньше времени.

– Здравствуйте, Варвара Семеновна, – сказали они хором, что же им было делать.

Варвара на секунду онемела, а потом чинно кивнула:

– Здравствуйте, Дрейдены.

– А известно ли вам, уважаемая Варвара Семеновна, – вдруг ни с того ни с сего объявила бабушка, – что моя мама была знакома с Анной Павловной Керн? И потому, Юра, зачем мне твое обручальное кольцо?! Что это за Танины допросы с пристрастием?

Последние слова я слышал уже из коридора. Было самое время, я рванул к себе, боясь, что меня остановят, запер дверь и сразу же оказался на полу, вернее, на расстеленных газетах.

Крепкие руки держали меня за ноги и за волосы, и два черноглазых лица низко склонились надо мной.

– Фашист, – почти беззвучно шипели Бела с Леной. – Гитлер и Геббельс, Гитлер и Геббельс… Думаешь, мы не видели, что ты с пипкой делаешь?! Мы всем скажем, – они рвали на мне брюки и тянули их вниз.

Я задыхался, хотел крикнуть, но боялся. В руке у Белы появилась бутылка с канцелярским клеем. Пуговица лопнула, и штаны слетели вместе с трусами. Зрачки у Белы с Леной расширились, рты открылись еще больше, я увидел их красные жаркие языки и тут же почувствовал, как холодный клей потек по низу живота.

– Суки, – сказал я, – арестантки, в шкаф валите на торпедном катере, – я дернулся, изогнулся, но меня уже не держали. Пока я натягивал мокрые клейкие трусы и штаны, они стояли и смотрели в потолок. Я отпер дверь, беззвучно рыдая и скуля прокрался в ванную, и, подняв кулаки над головой, погрозил в зеркало не то своему опухшему лицу, не то еще кому‑то.

В своем кабинете Глинский снял со стены огромный цейсовский бинокль с моторчиком, включил в сеть и отодвинул гардину. Зазвонил телефон, Глинский снял трубку и, ласково улыбаясь и кивая, принялся слушать чью‑то веселую дребедень.

Бинокль жужжал моторчиком на окне, и окуляры двигались, как живые.

– У него, – сказал Глинский, – в моче обнаружен коньяк, пять звездочек, все его болезни… – и засмеялся.

Неожиданно окно ярко вспыхнуло, свет ударил по глазам. Это включили за окном гирлянды к празднику, и тут же лопнула лампочка, как выстрел.

Снег все валил и завалил Плотников переулок. Где‑то репетировал духовой оркестр, повторяя одну и ту же фразу. Здесь было так пусто, что Линдебергу показалось, что они в церкви.

– Слезою жаркою, как пламя, нечеловеческой слезой, – пробормотал Линдеберг.

– Что? – Соня шла не оборачиваясь.

– Выросший мальчик в генеральских лампасах, – сказал Линдеберг, – выросший пьяный мальчик…

В ответ Соня подняла руку. Тут же остановилась крошечная желтая машина «ДКВ». Из машины вышел очень высокий человек с рябоватым лицом, в пальто с остро торчащими плечами.

– Это мой муж, – сказала Соня и протянула Линдебергу коробочку таблеток, – принимай, чтоб нос не загноился.

В машине был еще кто‑то, пожилая женщина выглядывала из крошечного примороженного окошечка. У нее было странное усатое лицо.

Сонин муж протянул руку и представился. Но Линдеберг не услышал, тогда Соня вроде перевела.

– Карамазов, – сказала она, – его зовут Дмитрий Карамазов… А это, – она кивнула на Линдеберга и вдруг, глядя ему в глаза, длинно и изощренно выматерилась.

– Вам туда, – сказал ее огромный муж, улыбнулся, обнаружив зубы из металла, и показал рукой направление, – и никуда не сворачивай, понял?.. Мы у нас здесь шпионов не любим, – он вдруг взял левой рукой Линдеберга за воротник, подтянув пальто вверх, правой рукой залез под пальто, под пиджак и вытянул паспорт.

– Завтра получишь перед самолетом, – он пошел к машине.

– Постойте, – Линдеберг сам поразился тому, что говорит, однако сказал: – Меня не пустят в гостиницу без паспорта.

Сонин муж, еще раз простецки улыбнувшись, издал громкий и пронзительный звук, который может издать только живот и прямая кишка. Но он издал его щеками. Линдеберг успел заметить сильно парящий от снега капот, когда машина мощно и резко взяла с места. Снег продолжал валить в свете фонарей.

Все случилось так внезапно, глупо и одновременно организованно, что смысл произошедшего медленно собирался в голове. Линдеберг зачем‑то высыпал на ладонь и пересчитал таблетки, аккуратно сложил рецепт, потом все выбросил.

– Ай‑я‑яй, – услышал он чужой голос, – ай‑я‑я‑яй, – и только потом понял, что это говорит он сам – Линдеберг.

Повернулся и быстро пошел обратно по переулку, где уже почти не осталось их с Соней следов, только ямки.

Железная решетка в садик, куда выходили подъезды, была заперта. В садике гулял мальчик с рыжей собачкой. Линдеберг потряс ворота и крикнул мальчику:

– Открой! Мне очень нужен твой отец, это важно, скорее, для него.

Мальчик посмотрел на Линдеберга и, посвистев собачке, быстро ушел в подъезд. А из подъезда появилась консьержка, уже виденная им на лестнице, и заперла подъезд на ключ. Она жевала и от подъезда не отошла, даже когда за спиной Линдеберга тормознула желтая малолитражка. Из нее выскочил Сонин муж, Карамазов или как его, навалившись, прижал Линдеберга грудью и лицом к железной решетке.

– Не шуметь, – тихо говорил он, – не шуметь, ты, фраерюга.

Из его прикрытой металлическими зубами пасти несло нестерпимым жаром и вонью. Шарф сбился, открыв серую жилистую шею.

Завизжав от унижения и боли, Линдеберг вдруг впился зубами в шею, в небритый кадык. Лицо и шея отпрянули. Ощущая сладкое молодое бешенство и счастье удара бывшего боксера полупрофессионала, поймавшего победу, Линдеберг ударил коротким апперкотом, потом длинным уже прямым и из стойки провел серию ударов, четких и быстрых. На секунду он увидел неподвижный Сонин профиль и усатый женский фас за стеклами машины и затем открывающиеся двери пустого черного «опеля» и человека с валенком в руках, который бежит к нему, успел поразиться силе удара валенка, увидеть кровавую вату, летящую из собственного носа, и услышать собственный предсмертный сип.

Тело его поволокли в «опель», пальто задралось, обнажив впалый живот и детский пуп. Карамазов, Сонин муж или как его, плюнул в лицо тому, с валенком, хотел ударить, но, видно, даже на это не было времени. Обе машины рванули с места.

Когда Глинский вышел во двор, вернее, в сквер, никого за решеткой не было. Не было и черного «опеля». Грязно‑темный квадрат на месте, где он стоял, закрывало снегом. На глазах квадрат сровнялся с улицей, будто его и не было.

В машине Глинский обернулся, сзади никто не ехал, вернее, грузовик‑цистерна с обмерзшей кишкой, но он был не в счет.

Был поздний час, но в подвыходной этот вечер на белоснежных, в сугробах, московских улицах было много людей, слышались скрип бесчисленных шагов, смех и разговоры. Светились окна и огни рекламы кино, мягко и успокоительно горели фонари. Молочный их свет был точно чем‑то свеж, и приятно было, что возле светящихся шаров пляшут снежинки. Вот женщина вышла из парадного и выбросила в снег кошку, пивной ларек был открыт, Глинский приказал Коле остановить машину, вышел из «ЗИМа» и подошел к очереди. Он подумал, что охотно бы поменялся местом с каждым из них, даже вот с этим на деревяшке. Иди со своей деревяшкой в теплый «ЗИМ» с мягко тикающими большими часами и с ковром на полу и езжай, оставь меня здесь, управлюсь я с твоей жизнью и с женой твоей управлюсь. Но как бы в ответ его мыслям именно одноногий и крикнул:

– Пропустим генерала, братцы?!

Очередь одобрительно загудела, Глинский взял под козырек, принял от пожилой татарки кружку из окошка, сдул пену и стал пить, разглядывая близкие эти лица, грузина с большой собакой на другой стороне улицы, немыслимо огромный дом и незашторенные окошки маленького дома, там астматическая старуха дышала в форточку. Уже идя к машине, Глинский вдруг вернулся и сунул ей в форточку сто рублей. А когда садился в открытую Колей дверь, услышал Колин смешок и увидел, как старуха рассматривает сторублевку под лампочкой.

«ЗИМ» опять покатил, и опять замелькали люди и смех, пока при выезде на Арбат машину не остановили коротким свистком. Все было перекрыто, и два человека с газетами и оба в одинаковых желтых ботинках встали рядом с милиционером перед длинным капотом «ЗИМа» с рубиновым наконечником. Арбат в огнях был невыносимо ярок.

– Ух, – сказал Коля, – нет города прекрасней! И место самое распрекрасное… значит, мы в самом лучшем месте на земле… Верно, товарищ генерал?!

Последнее слово было не слышно. На Арбат из‑за поворота одна за другой вылетели две лакированные огромные черные машины. И пошли с мощным торжественным гулом. Черные широкие их радиаторы рассекали воздух, снег и свет, и казалось, еще миг и они взлетят. Потом вывернули еще две, прошли стремительной дугой и растаяли в снежной пыли, оставив за собой здания, ленивые и темные, запорошенные по карнизам, почти слившиеся с темным глухим небом.

– Может, случилось что, – сказал Коля и сам себе ответил: – Навряд ли, – и включил приемник.

Очень старый человек резко проснулся, быстро провел рукой по штанам и, успокоившись, по‑видимому, что не обмочился, выцветшими своими полузрячими глазами не мигая уставился на Глинского.

– Почаевничайте, Юрий Георгиевич, – сказала горничная в русском кокошнике и передала Глинскому все тот же его напиток, вроде бы чай с жирным обмылком лимона в подстаканнике. Пить не хотелось, запой кончался, и, расстроившись этим, он принялся жевать лимон, не чувствуя вкуса. Кто‑то тронул его за локоть. Это была хозяйка, было ей под шестьдесят, но в лице и в фигуре было что‑то странное и юное. Звезда Героя на лацкане полосатого костюма странно сопрягалась с очень крупным жемчугом на шее, камеей и многими кольцами на тонкой птичьей руке.

– Весна, – сказала Шишмарева и украшенным кольцами пальцем постучала по стеклу. – Проснулась утром, что, думаю, такое, а это ревут львы… И пес испугался, откуда это у него?

С надмирной высоты гигантского дома, где‑то внизу, за мелкими домишками и двориками, темной громадой в редких огнях не то угадывался, не то чудился зоосад.

– Как я выгляжу? – она засмеялась.

– Чудно.

– А ты не чудно…

– Запой кончается, – пожаловался Глинский.

– Хорошо же…

– То‑то, что плохо.

В огромной новой квартире огромного, только что достроенного небоскреба на Садовом кольце у академика Шишмаревой происходил прием – один из тех, которыми так славилась Москва.

Шишмарева и Глинский отвернулись от окна и стали смотреть на гостиную под хрустальной, дворцовой, а потому несоразмерно большой люстрой. И на мундирную военную и статскую знать. Многочисленные ордена создавали в гостиной звон, или это чудилось.

Небольшой человек с желтоватым набрякшим лицом неумело играл и пел «Варяжского гостя».

– У них крестьянские лица, – Шишмарева навела на гостей палец и будто выстрелила из него, – короткие белые ноги и крепкие немытые тела… Я не люблю их. И ты не люби их тоже. Слышишь, никогда, – она добавила, кивнув на того за роялем, – а эту почечную крысу больше всех, – и тут же поцеловала в лоб коротко, не по‑здешнему стриженого человека в мундире дипломата и потому похожего на швейцара. – Не знаю, как вы, а я живу при коммунизме.

– Вот как похудел ваш директор, – дипломат ткнул трубкой в поющего. – Русский человек если работает, так работает, ну а уж веселится, так от души. А ведь я, – он еще раз ткнул трубкой, на этот раз в Шишмареву, – для вас, красавица, Наталья Сергеевна, энциклопедию проработал. И вот доложу, – он достал из бумажника листок, – сверил по годам рождения, если бы ваши научные результаты можно было тогда на практике применить, среди нас и Толстой бы, может, здесь прогуливался, я Льва имею в виду, всего их три было, ну Пушкин бы четыре года не дотянул, хотя там, конечно, ранение… У меня список на шестьдесят фамилий. И между прочим, вся «Могучая кучка» могла бы нам здесь исполнить…

– Представляю себе, – буркнул Глинский.

– Он хирург, – сказала Шишмарева, – они, хирурги, – всегда циники.

Дипломат значительно улыбнулся и отошел.

– Он подо мной живет и в ванной засолил огурцы, – сказала Глинскому Шишмарева, – а пробку зацементировал… А комендант Вышинскому написал… Верно, прелесть?! – Шишмарева захохотала и зажала рот рукой, чтоб не мешать пению. Но тут же захлопала в ладоши и крикнула: – Внимание, выступает русский медведь, – взяла с подоконника и протянула Глинскому подкову.

– Страшись, о рать иноплеменных, – прокричал от рояля желтый директор и заиграл марш.

– Поди ты к черту, – расстроился Глинский, но делать было нечего, и он вытянул перед собой подкову и стал было гнуть, но ничего не выходило, сила куда‑то ушла. Он почувствовал даже пот на глазах, согнулся в поясе, хотя это не полагалось, но ничего не вышло и так. Он развел руками и сунул подкову в карман. Гости все равно захлопали. Директор у рояля раскинул руки и принялся читать «Васильки» Апухтина.

Глинский опять попробовал хлебнуть «чаю», и опять не пошло.

По коридору с визгом покатила на подростковом велосипеде молодая артистка в клетчатой юбке и со знакомым лицом, два генерала, расставив руки, заторопились рядом, оберегая ее. Отворилась дверь, собственно, она здесь не запиралась, пришла Анжелика с мужем. Анжелика стала снимать с мужа тяжелое коричневое пальто. Глинский увидел, как из столовой вышла его жена Таня, и они расцеловались с Анжеликой.

– Кто как, а здесь уже живут при коммунизме, – хором, повернувшись к Шишмаревой, крикнули Анжелика с мужем, одинаково взмахнули руками и засмеялись.

Артистка в клетчатой юбке освободилась от генералов, с визгом влетела в дверь и упала, обнаружив теплые зеленые штаны. И тут же в коридор выскочил мальчик лет десяти.

– Выбила Мишкины спицы, дрянь, – сказала Шишмарева, – кормятся у меня нынче пол‑МХАТа и поятся. Любят, понимаешь?! Пойдем‑ка в кабинет, а то на тебя их теперь целых две, – она кивнула на Анжелику с Таней и уже на ходу добавила, помахав кому‑то рукой: – Вот уж эти Вайнштейны, и что за бестактность такая у евреев: отсутствие самолюбия.

– У него пропал сын, и он лучший анестезиолог города…

– Ну хоть бы.

Они прошли через столовую вдоль длинных, роскошно накрытых столов. С одного из столов Глинский прихватил бутылку коньяка. Хрусталь играл светом, огромные стеклянные жар‑птицы на стенах будто гонялись друг за другом, забавно отражая свет хрусталя. За одним углом стола спал старик с недоеденным мандарином в руке. В углу сидели Вайнштейны, муж и жена, и гладили большого облезлого старого дога. Глаза у жены Вайнштейна были собачьи, как у дога. Увидев Глинского, она зачем‑то стала быстро отряхивать юбку.

Дог брякнул ошейником и пошел за Глинским.

Кабинет был маленький, неожиданно скромный и проходной, двери низкие с накидными крючками. Пепельницы и блюдца хорошего фарфора, полные окурков, придавали странную одинокую неопрятность.

На столе лежали рамки с вынутыми фотографиями, разные фотографии разных лет. Да три большие фотографии на стене, над столом: смеющийся Сталин в белом кителе держит за шиворот щенка, министр госбезопасности Берия в маршальском мундире и в пенсне и физиолог Клюс в рамке поскромней, под треснувшим стеклом. Фотографии Берии и Клюса были подписаны, что‑то шутливое.

Глинский пересыпал из большого блюдца в чашку окурки, сдул пепел, налил в блюдце коньяку и поставил на пол. Дог стал лакать.

– Плохо тебе, Юра, – сказала Шишмарева, – что ж тебе так плохо?

– Вовсе не плохо, колечко обручальное потерял, так тоже не беда, – он погладил ее по голове.

– Да нет, плохо, плохо, – она взяла его руку, положила себе налицо и посмотрела на него сквозь его же пальцы. Шея у нее пошла пятнами, резко выделив родимое пятно. Она взяла указательный его палец, прикусила зубами, вдруг втянула глубже и тут же испуганно встала, – тьфу, тьфу, что значит март… Даже львы ревут, прошло, проехало, все, все, – закинула руки за голову и стала бить тустеп под что‑то непонятное по радио. И сразу помолодела и стала прелестной.

Глинский налил догу еще коньяку.

– Перестань спаивать собаку, жлоб.

Где‑то в гостиной зааплодировали.

– О васильки, васильки, как они смеют смеяться, – Шишмарева передразнила того желтого у рояля, – а как же василькам не смеяться. Ему в среду диагносцировали рак почки. Нуты на секунду представляешь себе, как будет выглядеть некролог?.. «На пятьдесят девятом году жизни скончался директор института долголетия… выдающийся талант в области продления жизни…» Цирк шапито, а на арене кто, на арене я. Давай танцевать. Пообещала самому, – она поправила пальцем портрет Сталина, – минимум сто тридцать лет. Институт нам строят, Парфенон рядом – собачья конура, квартиры эти, господи. И плевать, плевать, плевать…

Глинский опять налил догу, и странная музыка из маршей и молоточков, которая бывала, только когда кончался запой, забилась в мозгу. Ясность и сила заполняли душу.

– И плевать, плевать, плевать, и плевать… – Шишмарева отобрала у него бутылку и глотнула сама.

– Сколько, говоришь, лет обещала? Сто тридцать? – Глинский засмеялся. – К чему такие ограничения? А ты жми на сто пятьдесят… Как узнает? Нам не дано ни предугадать, ни ощутить, уверяю тебя, Наташа. Уж я‑то насмотрелся, поболе вас всех… Даже когда муки и сами зовут, не верят… Предчувствия смерти нет, это писатели выдумали… Ну уж если Нерон умирает, так такие казни, подруга, такие казни, какие уж докторишки, кому они‑то нужны… – Глинский прикрыл глаза: – Духи у тебя чудные или мыло.

Смысл сказанного не сразу доходил до Шишмаревой.

– Не сметь, – Шишмарева стукнула кулачком и попала по блюдцу, разбив его. Кровь отлила от лица, она совсем состарилась: – Не смей так ни о нем, ни о них… Ты циник, растлитель, ты даже собаку спаиваешь.

– Может, ей так лучше. Много ты знаешь…

– Молчать, молчать… – Шишмарева схватила блюдце и запустила в голову, но не попала.

Глинский засмеялся, обнял ее, они стали танцевать вдвоем, при этом он погладил ее по голове.

– Не ерошь, Юрка, они седые, – Шишмарева прижалась к его погону.

– Что ты его боишься? Он и ты. Он кот Васька, доведенный до абсурда.

– Пес, знаешь, почему львиного рыка боится?! Его прапрапрадедушку съел в Африке лев на глазах его прапрапрабабушки две тысячи лет назад… – Глинский взял со стола фотографию – он среди каких‑то генералов, – отстриг себе голову, плюнул на оборотку и прилепил догу на лоб: – Не бойся, авось!

Шишмарева захохотала сквозь слезы:

– Нет, ты видел, как Вайнштейн оделся?!

– Слушай, Наташка, ты детскую сказку помнишь, как человеку оживили его тень? Вроде двойника сделали… Я все вспоминаю, для чего… Не помнишь? – Глинский почувствовал, как напрягся голос, но она не поняла.

– Очень удобно Тане врать…

Глинский еще раз погладил ее по голове и вышел.

В детской крутилась по полу железная дорога, паровоз тащил вагончики через мосты и виадуки, и трое стариков внимательно следили за его движением.

В гостиной играл квартет, музыка была хороша, свет притушен, и на столе высоким голубым огнем полыхал пунш.

В пустой еще столовой в одном углу по‑прежнему сидели Вайнштейны, в другом вязала Таня, низко опустив голову к петлям. Ни сесть к ним она не могла, ни уйти. Под штатским пиджаком на Вайнштейне была русская расшитая рубаха.

Многочисленные зеркала тихо приняли его в прихожей, будто заполнили ее генералами. На кухне человек в высоких сапогах нюхал пальцы. В кладовке, где висели шинели и пальто, мальчик прятал велосипед.

– Здрасьте, дядя Юра, – сказал он и выскользнул.

У ног сел дог, попробовал почесаться, но промахнулся, он был пьян.

Глинский вдруг лязгнул челюстями, будто воздух укусил, взял с крючка не шинель, а коричневое на меху пальто Анжеликиного мужа и шляпу. И вышел.

На лестничной площадке у батареи сидел старик.

– Нас в десять спать кладут, а сейчас полночь, что же это?! Я Буденному напишу, – крикнул он почему‑то Глинскому. Лифт стоял на площадке. В лифте Глинский согнулся, его вырвало.

В огромном, похожем на храм вестибюле, на столике дежурного Глинский написал короткую записку За витражами из стекла и бронзы парили заголином «ЗИМы». Среди них черный лакированный «опель‑капитан».

Глинский не удивился, увидев его. Часы в вестибюле ударили полночь. Москва за стеклами была в гирляндах.

– Час Вия, – сказал Глинский Коле, – поднимите мне веки и прочее. А я как раз веки и поднял. У тебя стоп‑сигналы не горят, пойди посмотри.

– Не пойду, вы выпимши, – объявил Коля, рассматривая коричневое пальто, – а шинель куда подевали?

Глинский большим и очень сильным пальцем защепил у Коли воротник рубахи под галстуком и, повернув палец, сдавил шею.

– Пойдешь, – сказал Глинский, – и посмотришь. А потом в квартиру пойдешь, записку Тане отдашь, а не к тому «опелю». А то ты все, Коля, к «опелю» ходишь, друг у тебя там?

За воротник он вытянул Колю из машины и сел за руль.

– Все, бегом марш!

Подождав, Коля побежал к подъезду Глинский газанул. Заскрипел по боку сугроб. Он выдавил скорость: выскочил на Садовое кольцо. В эту секунду землю качнуло. Впереди грохнуло, как разрывом. Грузовик перед ним выстрелил выхлопной трубой, забив стекло копотью, дворник прочертил в копоти амбразуру, часы перестали бить, мощно играл гимн. «Опель» за ним не ехал.

Клиника спала. Глинский прошел быстро и бесшумно. В кабинете, казавшемся из‑за ночной пустоты огромным, похрипывала трансляция. В зеленом светящемся окошечке индикаторы были похожи на крылья бабочки.

– Смерть, смерть, – зашелестел из трансляции голос, и бабочка радостно захлопала крылышками, – быстренько подъем. Сколоть лед с бугра, генерал в клинике, – и голос радостно добавил, хихикнув: – В шляпе.

Глинский достал из стола армейский пистолет, но положил обратно. Нашел перчатки, аккуратно сложил и бросил зачем‑то в печь. Взял из стола деньги и большую групповую фотографию. Отрезал себе на фотографии голову, как только что у Шишмаревой. Плюнул, прилепил к кафелю печки. И теми же ножницами в двух местах обрезал провод трансляции. Глаз потухал медленно, сначала бабочка опустила крылья, только после зеленый глаз окончательно погас, и зажегся, и замигал воспаленный красный.

Глинский вышел, запер дверь, рубильником включил грузовой лифт, огромный, деревянный, обшарпанный, пахнущий карболкой, и нажал кнопку подвала.

В длинном бетонном коридоре он так же аккуратно обрезал еще два провода, вынул куски, сунул их в карман и пошел, стараясь попадать в стук собственного сердца.

Пока старшина Смертяшкин, так прозвали старшину в морге, натягивал сапоги, он прошел в камеру к столам, зажег верхний свет и рабочие лампы.

Табличка «Стакун Э. Г.» с номером отделения была на левой, а не на правой, как положено, ноге. Глинский, снимая грязную в кровяных пятнах простыню, ждал, что увидит, и не ошибся, и покивал. Перед ним лежал короткий и когда‑то очень сильный человек, одноногий инвалид со старой зажившей культей. Это был не Стакун. Это не мог быть Стакун, и это не был Стакун. На маленьком сморщенном члене инвалида было вытатуировано «Боец».

Глинский вытер руки газетой, бросил газету в унитаз, нажал спуск – унитаз был засорен. Красная бурая вода с кусками отсеченных внутренностей вспухла, завертелась, плеснула на сапоги. Смертяшкин засопел у плеча.

– У тебя трупный материал перепутан, – грозно сказал Глинский Смертяшкину, – потом явишься за взысканием. Какая же здесь атрофия? Смехота! Дежурного живо ко мне!

– Да нет связи… Крысы опять погрызли.

– Бегом марш! – и, не ожидая, когда хлопанье валенок затихнет, двинулся сам. Узким коридором мимо старых прозекторских столов, кучи угля. Старая низкая беленая дверь, Глинский поднял медный крюк‑закидку, сбалансировал вертикально и, как четверть века назад третьекурсником лекпомом, выскользнул тенью из анатомички. Как и тогда, прижал дверь и стукнул локтем. Крюк лязгнул и стал на место. Ничего не изменилось, только из клиники бежал не молоденький лекпом, а генерал, и не на ночную свиданку в парк за оградой. Хоздвор, заледенелые термосы, кузницы, склад гробов, полевая кухня без колес. Да узкая тропинка, проложенная мотающими лекции курсантами, да красная кирпичная стена, да палка‑рогулька – оттянуть проволоку Тяжелое пальто не давало прыгнуть, но он зацепился, оттянул рогулькой проволоку, уже лежа под ней на стене, оглянулся на темную клинику. Теряя пуговицы, спрыгнул вниз и побежал.

Тропинка изгибалась, соединилась с другой и вывела Глинского на широкую площадку перед ярко горящим КПП.

Он стоял за кустами у широкой ямы за горой бетонных труб. Там, впереди, на площадке под ярким светом, присыпанный мелким блестящим снежком, стоял его «ЗИМ», и от «ЗИМа» к КПП тянулись только одни следы, его. Тихо и покойно было под ставшим звездным небом и под мутной луной. За Варшавкой простучал поезд, и вовсе тишина.

Глинский собрал с трубы снег и стал жадно есть. Остатки снега положил на голову под шляпу Все показалось ерундой, игрой воображения, ночным психозом. Так вызывающе покойно было вокруг. «Надо ждать час, – сказал он сам себе вслух, – и если все обойдется – идти спать. И забыть».

Кто‑то курил в клинике, матовое окно сортира было открыто. Глинский тоже закурил и стал глядеть на человека. Человек не мог видеть его, но было приятно думать, что они смотрят друг на друга.

После бега было жарко, растаявший снег тек по лицу и по шее.

Глинский расстегнул шубу, в кармане пальто что‑то попалось под пальцы. Это что‑то было кольцом. Его обручальным кольцом. Конечно же. Это было забавно. Найти кольцо в кармане Анжеликиного мужа.

– Анжелика у меня, муж у Анжелики. – Он опять сказал вслух.

Глинский прицелился и щелчком послал кольцо вперед. В снег, в сторону «ЗИМа». И замер. Кольцо вдруг ярко блеснуло, будто само произвело свет. И исчезло. Это был мгновенный свет, вспышка фар. На площадку въехала «скорая помощь». Спокойно прохрустела по снегу, повернулась и остановилась за кустами. Там хлопнула дверца. «Скорая» уехала, а из‑за кустов возникли четыре лыжника в байковых шароварах и толстых свитерах с оленями. Днем таких здесь пруд пруди, но далеко за полночь? Лыжники развернулись спинами друг к другу и, раз‑два, пошли взмахивать, как на учениях, вдоль ограды в разные стороны. И сразу же опять свет фар.

На площадку въехала полуторка с вышкой, стакан. Таких сейчас по Москве ездило множество, и эта ничем не отличалась от многих. На платформе мужик в тулупе, корзины с лампочками – менять в гирляндах. Из кабины выскочил шофер, отцепил из‑под кузова ведро и побежал в КПП. По‑видимому, просить воду, и тут же следом, вот уж воистину то пусто, то густо, въехал здоровый трофейный грузовик, груженный бревнами под драным брезентом. Шофер из грузовика вылез, подошел к мужику в тулупе на платформе вышки, лампочки, что ли, просить продать, и вдруг бегом обратно.

А из КПП дежурный и двое солдат. Кубарем отворять ворота. В дверях КПП водила с машины‑вышки, только без ведра и руки в галифе. Грузовик с бревнами сразу же трогает и сразу же вправо под железный навес, где разгружают кислород. Опять шофер выскочил, и еще один. Зачем клинике бревна?! А из кабины еще один, и еще пятый, восьмой, двенадцатый. Такое только в цирке возможно. Все фигурки в сапогах, в каких‑то одинаковых пальто, и все возникает беззвучно.

Вдруг грузовик погасил габариты, полуторка тоже. И тогда на площадку, без огней, въехал черный «опель‑капитан».

Сигарета больно обожгла Глинскому губы. Он оттолкнулся от труб и пошел, стараясь не скрипеть, понимая, что невидим в темноте.

В заснеженной беседке рядом с голой под снегом женщиной с веслом он снял брюки, вывернул их лампасами внутрь, опять надел, переложил из кителя в пальто подкову и побежал, не оглядываясь больше на клинику.

В клинике одно за одним ярко зажигались окна.

Без четверти два ночи из автомата в Столешниковом Глинский набрал домашний номер, не ожидая ответа, – что ему могли там ответить? – положил трубку, но не на рычаг, а приладил ее к дверной ручке и быстро пошел по переулку вниз к гостинице и стоянке такси.

В небольшой очереди он был вторым, он рассчитал правильно. Глинский уже садился в такси «ЗИС», когда в Столешников с обеих сторон влетели две машины, тормознули, выбросив из себя по нескольку человек, один был с пуделем на поводке.

Когда «ЗИС» тронулся, навстречу пролетела еще одна, заелозив на скользких под снегом трамвайных путях, желтая маленькая «ДКВ», он вдруг узнал ее, в ней мелькнуло бледное неразборчивое лицо.

У залитого светом, обклеенного бесчисленными афишами одного и того же фильма Киевского вокзала Глинский вылез.

В шумном и людном ночном привокзалье, на углу у пригородных путей, из бочки на колесах продавали рыбу. Глинский купил огромного судака и пошел пустыми в этот вовсе ночной час переулками. Замотанный в мокрую газету судак был жив. За киоском «Цветы» Глинский постоял, пережидая, пока по переулку прошла снегоуборочная с солдатом за рулем, железный скребок и щетки смели его следы на свежем снегу. В немытом стекле киоска он увидел свое мутное отражение, двумя пальцами подтолкнул шляпу наверх. Судак опять зашевелился, шлепнул хвостом. Глинский, прихватившись за мокрую скользкую газету, ударил судака головой об угол ларька, прошел во двор, зашел в подъезд, поднялся по деревянной скрипучей лестнице и несколько раз коротко позвонил в дверь.

«Жид» – было написано на стене масляной краской, ниже «сам жид», а еще ниже «Ура!».

Дверь бесшумно открылась. Варвара Семеновна Бацук, в халате, толстая, краснощекая, с большими серыми глазами навыкате, отступила назад и тут же схватилась за голову. Волосы ее на висках были накручены на кусочки газеты.

– Ой! – сказала она.

Глинский протянул ей шляпу.

Судак опять забил хвостом.

– Глупости, – сипло сказала Варвара Семеновна и двумя руками надела шляпу. Ему показалось, что она в перчатках.

– Как матушка? – спросил Глинский, отошел и опять ударил судака головой о подоконник.

– У нее стал шевелиться большой палец…

Появился огромный белый кот, потерся о ее полные, в тапках, ноги.

– Да, мне Вайнштейн сказал…

– Это я вам сегодня сказала.

– Варвара Семеновна, – Глинский подумал, что они смотрят друг на друга и не мигают, – давайте мигать. А то дело у меня в общем‑то неловкое, и если еще не мигать… Вы не могли бы переспать сегодня у матушки, а мне постелить на диване? Назавтра купить мне штатский, так сказать, пиджачок и брючата, а то я в затруднительном положении.

– Вы пройдите на кухню, – она побледнела и как‑то скорчилась.

В квартире застучало.

– Это насчет воды, – крикнула Варвара Семеновна, – что завтра воды не будет. Проходите же, – как‑то почти шепотом крикнула она и еще больше скорчилась, – видите, я не в порядке, ну же…

Глинский пошел на кухню, оставляя сырые следы на светлом половике.

Кухня была расположена в стеклянном фонаре. Здесь топилась плита, клокотал бак, было очень чисто, посуда накрыта марлей. Во множестве висели листы, на которых каллиграфическим почерком было выведено «НЕ ЗАБЫТЫ», в аккуратных ящиках бодро рос зеленый лук.

Кот, не обращая внимания на рыбину, стал тут же есть зеленый лук из блюдечка. Застекленная, без занавесок, кухня‑фонарь будто летела над крышами и снежной улицей. Выстиранные бинты медленно шевелились над плитой.

Вошла Варвара Семеновна в косынке и туфлях на высоком каблуке.

– Я занавески крашу, – она кивнула на бак, показала темные кисти рук, зажгла настольную лампу и погасила верхний свет.

– Для вас это не особенно опасно, – сказал Глинский, он растопырил пальцы, пошевелил, и тени забегали по кухне, – можно сослаться на приступ у матушки, незнание, на невозможность отказать врачу… – Глинский оторвал стрелку зеленого лука, откусил и стал жевать.

Варвара Семеновна забрала стрелку, облила из чайника и вернула.

– Кот нюхает, – сказала она и очень прямо села на табуретку, – он, видите ли, вегетарианец.

– Неудачный эксперимент, – сказал Глинский, – то есть по сути удачный, но результаты отдаленны, а выводы сделаны нынче, и серьезное политическое обвинение… Через месяц все это рассеется, как туман. – Глинский врал и чувствовал при этом, что просит, и от ненависти к себе закрыл глаза. – Кстати, есть у вас водка или даже спирт? Я был бы очень обязан.

В стену опять застучали.

– Подумайте, – сказала Варвара Семеновна, не обращая внимания на стук, она прошла к плите, сняла с бака крышку, выпустив клуб пара, и стала деревянной палкой что‑то там ворочать. – Живет учительница, нехороша собой, да что там нехороша, толстуха и старая дева с гайморитом и постоянными головными болями… Мамашу ее лечит блестящий генерал, отец ученика. Толстуха, естественно, влюблена в красавца генерала. Что ей светит? Да ничего. И вдруг он приходит к ней посреди ночи, пусть что‑то сочиняет, но главное, говорит – спаси меня. И что же она чувствует, которой‑то и терять нечего, – Варвара Семеновна закрыла бак и покачала головой, – только страх, и чтоб ничего не было… Будто приснились нам тургеневские барышни…

Глинский улыбнулся, ощущая резиновые свои губы, и встал.

– Что они с нами сделали, проклятые?! – Варвара Семеновна опять открыла бак.

– Мигните, – Глинский вытянул руки и хлопнул в ладоши, – нельзя не мигать. У меня, когда запой, всегда склонность к сочинительству. Я с ночной рыбалки, судака подо льдом поймал, вам с котом принес и дальше пошел.

В стену все стучали, все без перерыва.

– Замолчи, – вдруг с перекошенным лицом закричала Варвара Семеновна.

Глинскому показалось, что ему, но не ему, туда, в глубину квартиры.

– И молчи всю ночь. У меня мигрень. Если ты стукнешь еще раз, я до мая уеду в Кратово. – И послушала внезапную тишину. – Отпустить я вас тоже не могу, потому что я разрушу себя. Я все выполню, – она опять, не мигая, уставилась Глинскому в лицо через пар из бака, – но и вы, Юрий Георгиевич, выполните мои условия. Вы не будете нынче пить. Сейчас я истоплю колонку, вы примете горячую ванну, а третье, – она прошлась по кухне, – а третье, это позже…

Глинский кивнул, достал из кармана толстую записную книжку, открыл дверцу плиты, положил книжку в огонь и стал глядеть, как выгибается и скручивается кожаный переплет.

– У вас брюки на левой стороне, – сказала Варвара Семеновна.

В это время книжка вспыхнула, осветив их унылые лица, невольно смотревшие на огонь, и каждое склоненное к своему плечу.

– Строем бараны идут, бьют в барабаны, – сказал Глинский, – шкуру для барабанов дают сами бараны. – И вдруг, бешено обернувшись, показал кукиш городу за окном.

Ночью в моей комнате под музыку поплыл фонарь, и голос Полины‑комендантши произнес:

– Сын Алексей. Одиннадцать с половиной лет. Прописка с 01.06.45 года.

Сиплый мужской голос тут же поддержал:

– А ну‑ка проснись, Алеша Попович… Мы тут кое‑что поглядим…

Луч фонаря уперся в выключатель, и шар‑плафон зажегся, как это бывает только ночью, не желтым, а белым светом. В квартире, как в праздник, все двери открыты, все люстры зажжены. Над нами в тридцать девятой квартире патефон играл «Брызги шампанского». По коридору ходили военные. Военный с сиплым простуженным голосом протянул мне кусок колотого сахара:

– Хочешь мороженого?

– Это же сахар, – поддержал шутку я.

– А ты его возьми в рот, а попу выставь в форточку, будет холодно и сладко, – и он захохотал.

Другой военный, помоложе, внес в детскую два желтых стираных, будто накрахмаленных мешка.

– Тю, – сиплый военный, был он майор, обернулся.

И я тоже увидел, как из шкафа в маминой комнате вылезают Бела с Леной в ночных рубашках.

– Дрейдены, – прочла Полина, – Бела Соломоновна и Лена Соломоновна, племянницы по линии супруги, московская прописка аннулирована, здесь находятся с восьмого сентября.

– Барышням по конфетке, – приказал майор.

Я вышел босой, в трусах, и воткнулся в бабушку. Бабушка сидела на стуле с вещмешком‑торбочкой за спиной и с преданностью смотрела на военных.

Надька пронесла бутылку из‑под шампанского с кипятком, была она одета, но растрепана и в сползших до щиколотки чулках.

– Да грелка это, грелка, – услышал я ее голос из кабинета, – ну нет у нас резиновой. Спасибо, спасибо…

Посредине бабушкиной комнаты лежала простыня, на ней бабушкины припасы. Военный двумя пальцами держал совсем стухшую колбасу.

– Сыночек, – попросила бабушка, – ты мне чаек верни… Я без чайка…

– Все будет хорошо, мамаша… – сиплый майор дал бабушке конфету. – А вы вон ему торбочку дайте посмотреть… Вы ему торбочку, он вам чаек…

– Спасибо, – сказала бабушка, – вы просто рыцарь… – Она победно посмотрела на нас.

– Если нашу одежду посмотрели… мы можем одеться?.. – спросили хором Бела с Леной.

У них уже был обыск, даже два, они все знали.

Сиплый майор мыл в ванной руки. Я дал ему полотенце.

– Устал я, – сказал он, принимая полотенце, послушал, как наверху на пианино играют «Темную ночь», и подмигнул мне, – завтра всем выходняк, а нам опять работа.

Меня мучило то, что я послал заявление в письме, и оно могло уже прийти, и я не знал, что делать, и на всякий случай тоже подмигнул ему. Очевидно, он не понял и, чтобы проверить себя, мигнул еще раз. И я мигнул в ответ. И только тогда спросил:

– Вы мое заявление читали?

– Читал, – быстро сказал он, – это насчет чего?

– Насчет чекистской школы… – напомнил я, – о приеме. Я вчера посылал.

– Конечно, – сказал он, – это дело серьезное… Только ведь у чекиста должно быть железное сердце.

– И ясная голова, – сказал я.

– И чистые руки, – он показал мне чисто вымытые руки… – Хочешь мороженого? А, да… – и пошел в кабинет.

Я пошел за ним, будто наделенный каким‑то новым правом.

В кабинете вся библиотека была вывалена на пол. Двое складывали рукописи и бумаги в накрахмаленные мешки.

Майор заложил руки за спину и стал смотреть на картину, – кривой лес, поезд и ворона с человеческим лицом и в одном ботинке.

– Это что ж? – спросил он. – Икар еврейской национальности?

– Это больной нарисовал с опухолью мозга… Они бывают очень талантливы.

Мама сидела в кресле, скорчившись, с горячей бутылкой из‑под шампанского на животе.

Майор кивнул.

– Отказывается расписаться, – сухо пожаловался майору лейтенант со скрюченным набок личиком, – утверждает, что вовсе не муж…

– Я не утверждаю, – заговорила мама, – но, во‑первых, у меня дрожат руки, во‑вторых, он мне с шофером прислал письмо… Видите, он ушел от меня… Как же я могу?!

– Вижу, – засипел майор, – хотя и затрудняюсь квалифицировать. – Он пронзительно под пианино соседей засвистел «Темную ночь».

В ответ в кладовке завыл и стал скрестись Фунтик.

– Я думаю, надо расписаться, – сказал майор, посвистев. – Мальчик у вас хороший…

– Спасибо, – сказала мама и стала расписываться в книге на каждом листе. – Надя! – позвала она пронзительно. – Угости товарищей борщом. Ты почему не спишь? – закричала она на меня, глаза у нее были большие и абсолютно слепые.

– У меня в комнате тоже ищут, – заорал я в ответ, – где же мне спать?

На кухне бледный Коля держал холодную ступку на разбитом носу.

– Вещей нашлось уйма, – встретил меня Коля, – и авторучка немецкая, и финочка, за которую на тебя генерал грешил, и еще уйма… Финочка, знаешь, где была, в кресле… – Он испуганно посмотрел на грозную Надькину спину.

– Распространение панических слухов, – пронзительным голосом сказала бабушка в дверях, – в виде грядущего голода – 54/3 я беру, но агитации и пропаганды – 58/4, 3, 6 здесь даже не ночевала, – она помахала передо мной костлявым пальцем.

В столовую за ее спиной вышли Бела и Лена с книжками и одним на двоих чемоданом, обвязанным бельевой веревкой. К чемодану были прикручены коньки. Они сели очень прямо и стали читать. Были видны только аккуратные проборы на черных головах.

– Позвольте, мамочка… – В кухню вошел майор, кивнул на Белу с Леной и потянулся, будто после крепкого счастливого сна. – Не любят нас с вами Соломоновны… Плесни борща, хозяйка…

Надька поставила перед майором борщ, выколотила на тарелочку мясо и посолила его.

– Учти, – сказала она Коле, – у тебя тоже так выглядит…

– Не так, – сказал майор. И вдруг стало тихо. В тишине он с шумом втянул в себя борщ.

И все, даже бабушка, из кухни ушли, хотя он никого ни о чем не попросил. Втягивал в себя борщ со всхлипом и все.

– Вот что, – сказал он и положил передо мной пачку сигарет «Русская тройка» с золотым ободком, – кури.

И закурил сам. И я закурил, в кулаке, но не глядя, как раньше, на дверь.

– Папаша твой врагом заделался, – сказал майор. – Или его заделали, пока квалифицировать трудно, буржуазные националисты, а попросту евреи… Они ли за ним, он ли за ними… Страшно, Леха. Вот к вам вечером вчера приходил один…

– Это ж латыш… Лямпочка… – Меня заливал пот, как отца последнее время, голые ноги тряслись, я сцепил их под столом, но курил затягиваясь, и от этого все плыло.

Майор покачал головой.

– Американский полковник, – он посмотрел на потолок, – вышел из посольства и вернулся туда же, и спит там крепко, и ест там сладко, а мы вот с тобой ночь маемся. Я тебе в обоих твоих дневниках, – он подмигнул, – на оборотке телефон записал. Звони. Скажешь «Орел» или «Матрос». Выбирай.

– «Орел», – сказал я, подумав, – а о чем звонить?

– Это уж ты думай, Леха. Себя выручай, мамашу хорошая она женщина. Появится отец, тут же и звони, для его же пользы. – Он выпучил глаза и шумно встал. – Мозги у человека желтые, а у коровы белые, поэтому человек ест корову, а не наоборот. – И вышел.

У двери его ждала мама, на кухню выйти она не решилась. Двери на лестницу были открыты, военные выносили к лифту мешки.

На площадке выше стоял солдат.

Полина в гостиной на свече в бронзовом подсвечнике плавила сургуч, а лейтенант со скрюченным лицом накладывал красные печати с веревочками на двери.

– Все запечатывают, – сказала мама майору, – а где же нам?

– А сколько вас? Два‑с, – сказал майор и выбросил перед маминым лицом два пальца. Он говорил, будто другой человек, будто не он сахар предлагал. – Прописку только при коммунизме отменят, и то не для всех. Спецпереселенок в шкафу прячете. Задумайтесь. – И козырнул одному мне.

Полина задула свечку, лейтенант со скрюченным лицом убрал печатку в футлярчик.

– Что ж остальные‑то борща не попробовали? – сказала им всем мама.

– Нормально, – сказал майор, и вдруг все быстро ушли, простучали каблуками – и нет. Как не было.

В кладовке заскребся и завизжал Фунтик.

– Фунтика запечатали, – испугался я, – как попугая.

Надька вынула шпильку и пошла к кладовке.

– Совсем котелок не варит, – сказал Коля и встал между Надькой и запечатанной кладовкой.

– Ага, – Надька вдруг схватила Колю и его пальцами стала сдирать печать.

Коля сжимал пальцы в кулак. Но Надька была сильнее, печать повисла на одном шнурке, и Фунтик выскочил.

– Будешь звонить? – сказала задыхающаяся Надька. – Все телефоны зазвонил, падло копченое.

– Надежда, – крикнул Коля и поднял руку, – думай, что болтаешь… А цыган твой в Барвихе в чьих сапогах ходил? В генераловых?

– А дрова? – взревела Надька. – А папаху неношеную кому толкнул? – Она уперла руки в бока.

Нас они не стеснялись, будто нас и не было, будто мы умерли.

– А отрез суконный? А сын Борька от кого? – визжал Коля. – В сорок втором забрюхатеть… Да он у тебя Фрицевич или Карлович, а может, Адольфович? Я, если надо, еще позвоню.

– Ну все, – Надька обернулась к нам с беспомощной улыбкой, – сажусь, Татьяна, иду по генералову пути.

Коля метнулся, взвизгнул и закрылся в уборной. Надька рванула дверную ручку.

– Как вам не стыдно? – Бела стояла в дверях кухни со стаканом молока, может, и правду сказал майор, они нас ненавидели. – От вас даже бабушка ушла.

Бабушки, действительно, не было, ни пальто, ни торбочки, ни палки, ни калош.

Мама пожала плечами, ушла на кухню и тоже налила себе молока, уже с молоком вышла на лестницу, и я за ней.

– Баба Юля, – позвал я в пустоту пролета.

Музыка в тридцать девятой больше не играла.

– Петруша, голубчик, здравствуй, – будто где‑то рядом сказал попугай.

Глинский проснулся от выстрела, выстрелили ему в затылок, и сел, задыхаясь в липком поту. Это выстрелило полено, около плиты сидел огромный белый кот, перед ним лежала задавленная мышь.

– Пошел вон, – сказал коту Глинский и вытер простыней мокрое лицо. – Свинья ты, а не вегетарианец.

Но кот не шевельнулся.

– Он глухой. – В кухню вошла Варвара Семеновна, была она гладко причесана, блузка под горло заколота большой брошью. – Это бывает с альбиносами. Я хотела, чтобы в дровах не было елки, но, как всегда, вышло наоборот. – Она поставила на табурет рядом с диваном молоко: – Выпейте как снотворное.

Глинский засмеялся.

– Мне, как снотворное, нужна бутылка коньяку. Можно больше, но меньше никак.

– Мне нельзя, чтобы вы сегодня пили… – она повернулась спиной и говорила, не оборачиваясь. – Тут у нас трамвай, третий номер, с рельсов сошел, и бабы рельс пилили. Сели на снег в ватных штанах и пилой по нему. И поют под эту виолончель: «Дроля, дроля, дролечка, сделай мне ребеночка… Ручки, ножки маленьки, волоси – кудрявеньки». Мне бы хотелось попросить вас об этом.

Кот встал и медленно вышел из комнаты.

– Повторите, пожалуйста, – сказал Глинский и опять вытер лицо простыней.

– Да не мучьте же меня, – крикнула она, по‑прежнему не оборачиваясь. – Мне же стыдно это повторять, я хочу от вас ребенка. От вас, потому что я хочу такого ребенка, то есть чтоб он был в такого отца, – она сбилась, – и сейчас, потому что другого случая у меня не будет. Я тоже кое‑чем рискую, согласитесь, так что услуга за услугу.

– Да что я, бык Васька?! – Глинский сел на диване и выпил до дна молоко.

– В некотором роде, конечно… Но есть и принципиальное различие…

– Хотелось бы знать какое, – Глинский подтянул брюки и потащил из кармана папиросу.

Она резко повернулась.

– Их два. Во‑первых, я люблю вас, а во‑вторых, вы, скорее всего, сгинете с этого света… И не курите, пожалуйста, будете курить потом… И закройте глаза, я стесняюсь.

Глинский закрыл глаза и стал слушать, как она раздевается.

– Подвиньтесь.

Он подвинулся, она сначала встала ногами на диван, потом легла рядом, натянув до горла одеяло с простыней и глядя в потолок. Ее большое жаркое тело прижало Глинского к спинке дивана. Он тоже глядел в потолок, не ощущая ничего, кроме комизма ситуации.

– У меня холодные ноги? – спросила она. – Подождите, пусть согреются…

– Что это, процедура что ли, – взвыл Глинский. – С таким лицом аборты делают, а не с любовником ложатся… Ты ж даже губу закусила… Вам наркоз общий или местный? Я старый, я промок, я в вывернутых штанах бегал, меня посадят не сегодня‑завтра, ты сама говоришь…

– Что же мне делать? – спросила она.

– Черт те знает, – подумав, сказал Глинский. – Может, кого другого полюбить… Из учителей… – добавил он с надеждой, – астроном у вас очень милый…

Она затрясла головой.

– Он идиот…

– Я, знаешь, боюсь, что у меня так не получится, – сказал Глинский, – если бы ты преподавала хотя бы биологию, нам сейчас было бы легче…

– Но и Пушкин сказал – «и делишь вдруг со мной мой пламень поневоле…»

Глинский засмеялся.

– Закрой глаза, – угрюмо сказала она, – я встану…

И, не дожидаясь, села. На больших плечах туго натянулась рубашка в каких‑то рыбках.

– Погоди, – сказал он.

– Что же, – губы у нее тряслись, – мне перед вами обнаженной с бубном танцевать?! Отвернитесь же, боже, стыд какой… – Она часто дышала. Глинский подумал, что сейчас с ней случится истерика, и схватил ее, уже встающую, за руку.

– Подумай, – сказал он, – на севере, знаешь, как говорят… Там любить – означает жалеть… Ты попробуй сейчас не о себе подумать, а обо мне… Ведь сколько незадач, а тут еще ты…

Она дернула руку, он потянул в ответ. Она упала к нему на грудь.

– Сними рубашку.

Она затрясла головой, и он сам стал снимать с нее рубашку…

– Ну быстрей же, ну быстрей, – говорила она при этом.

Тело уже обнажилось, голова не проходила, он не развязал завязку. Варвара Семеновна говорила из этого вывернутого кокона. И, почувствовав желание, он наконец лег на нее.

– Раздвинь ноги…

– Так? – раздалось из кокона.

– Примерно, – сказал он, ощутив нежность.

– Больно, – сказала она, – но я буду терпеть…

В комнату тихо прошел кот, положил у печки вторую мышь и стал смотреть на тени, которые метались по кухне, стеклам и по всей Москве. Потом кот подпрыгнул, ловя тень на стене, будто хлопнул в ладоши.

Тягач немецкий трофейный вез длиннющие трубы, от мелкодрожащего его капота шел пар, звенели в кузове трубы, выл мотор, тягач тянул в гору, и впереди было только небо, будто они туда и ехали, небо и мутная луна.

Шофер открыл окно и харкнул куда‑то в снег в сторону темнеющего леса, потянуло дымом и холодом.

– Дым отечества, – пробормотал Глинский.

Шофер опять харкнул, он не слышал.

Старое бобриковое пальто, кирзачи, потертая шляпа на бугристой, после стрижки, почему‑то в проплешинах голове, в ногах поросенок в мешке. Все это напоминало юность, должно было стать привычным, не маскарадом, но образовалось как маскарад. Покой, на который рассчитывал Глинский, не приходил, все, что было четверть века тому назад, унеслось, как курьерский поезд, и со встречным не возвращалось.

Глинский тоже открыл окно и тоже харкнул на снег.

Трубы еще брякнули, подъем кончился: обнаружив источник «дыма отечества». Это догорал барак, вернее, уже догорел, чадил углями и паром. Здесь было много бараков, черных, длинных, одноэтажных, по окна утопающих в снегу.

У пожарников лопнул шланг, и вода хлестала во все стороны, забавляя толпу, не давая прихватиться. Тащили мешки с картошкой, бегали дети. Забор был повален, и все это вместе: и пар, и расхристанные люди, и бегающие по снегу курицы – являло зрелище, скорее, веселое, и Глинскому захотелось туда – таскать мешки, смеяться, а потом завалиться спать где‑нибудь на полу.

– Ну каждые квартальные горим, – сказал шофер, помахал, как на гулянке, кому‑то рукой, но не остановился.

Перед машиной бежала коза с грязным в сосульках задом и с торчащей вбок примороженной бородой.

Дым от пожарища, уже не черный, а белый, подобный тяжелому летнему туману, пересекал дорогу. Коза исчезла в этом дыме тумана, а после и они въехали, закрывая на ходу окна, шофер длинно гудел.

Дым неожиданно кончился, открыв маленькую станцию, вернее, заснеженную площадь при станции с несколькими фонарями, с автобусной остановкой, там мелькали огоньки папирос, визжала собака и кто‑то смеялся. Оттуда бежала женщина с припухшим лицом, в валенках на босу ногу, придерживала рукой не то шарф, не то большие груди мешали ей бежать. За ней хромал подросток в хороших сапогах.

Грузовик разворачивал, открывая красные товарные вагоны в гроздьях инея, с низким пакгаузом в снеговой шапке, маленькую станцию да пивную у перрона.

– Мальчика не видели? Шесть с половиной лет мальчику… – Женщина прыгнула на подножку грузовика и проехала так немного. У нее были очень мелкие острые зубы и припухшее лицо. – Семи лет, в пальто серого сукна… – И, не дожидаясь ответа, спрыгнула и побежала прочь.

Грузовик уперся фарами в кассу. Глинский сунул водителю тридцатку, взял поросенка, прошел в ярком свете и попросил билет до Астрахани.

– Один плацкарт.

Водитель выключил фары. Кассирша за невидимым, ставшим темным окном ругнулась, что поезд в восемь утра и надо знать, и выставила руку с билетом в перчатке с обрезанными пальцами.

«Тося» – было написано по буковке на пальце.

И Глинский сказал:

– Спасибо, Тося! – и следом за водителем вошел в пивную.

Гудела огромная печь. Костистая немолодая женщина с темным лицом играла на аккордеоне «Танец маленьких лебедей».

Молодой мужик, по виду мелкий блатарь, в крашеном кожаном пальто и в шелковом белом кашне, с кружкой пива, с папиросой в зубах шел через пивную, удерживая на стриженной под бокс голове мокрый футбольный мяч. Так он и подошел к столику, где Глинский пил пиво, осторожно вынул папиросу и вместе с мячом попробовал сесть. Запах хорошего табака мешал. Глинский невольно стал смотреть на папиросу, мяч у блатаря упал.

Блатарь узким, очень красным языком перекинул папиросу, двумя пальцами взял Глинского за нос, при этом он продолжал что‑то говорить пацану в грязном ватнике, тоже в белом кашне и с экземой вокруг рта.

Глинский оттолкнул руку. Блатарь хлебнул пива и опять прихватился к носу Глинского. Глинский вытянул руку и тоже схватил его за нос.

Подошел пожилой капитан‑связист и, не обращая внимания на то, что два человека держат друг друга за носы, поднес руку к козырьку.

– Попросил бы, в связи с личным праздником, ссудить на приобретение пива…

Блатарь достал из кармана левой рукой трешку и дал капитану.

Глинский тоже полез левой рукой в карман и тоже дал трешку рублями.

– Граждане‑товарищи, люди и мужики, – старик в мокром прожженном пальто раскачивал рукой‑протезом в варежке и бодро пил пиво, – сходим, помочимся на собачку мою. Собачка у меня, Толик, обгорела, – сказал старик блатарю, – невестка собачку не спустила, проблядь… при ожоге помочиться следует…

Блатарь легко согласился, отпустил нос Глинского. Глинский тоже отпустил, и человек пять двинули за стариком. Аккордеон уже не играл. Капитан‑связист, сам напевая, неожиданно похоже стал изображать «Танец маленьких лебедей» – руку он держал под козырек и смотрел на Глинского.

Глинский вытер шляпой нос, взял поросенка и вышел.

Здесь был перрон, длинный и дощатый, да красные товарные вагоны в гроздьях инея, да низкий пакгауз в снеговой шапке – вся эта маленькая станция была под снегом, кроме черных рельсов, которые столько раз представлялись ему в эти последние часы.

Глинский поднялся на противоположный перрон.

Через переезд уезжал грузовик, победно брякнули трубы.

Загрохотало. От Москвы шел скорый на Сочи.

Глинский шел по перрону, навстречу поезду, глядя на него. За светлыми окнами темных вагонов мелькали люди, международный блеснул лаком. Было видно, как пьют чай и как женщина у окна поправляет прическу Женщина была в ночной сорочке, она скользнула глазами по невидимому ей Глинскому. В последнем вагоне было открыто окно, из окна высунулся человек, он играл на трубе. «Та‑та‑ра‑та, та‑та‑ра‑та», – донеслась мелодия. Поезд пролетел.

Глинский сел на скамейку и вытянул ноги в кирзачах. Невдалеке, прямо на досках перрона, накрывшись пестрыми одеялами, спали цыгане. Маленький цыганенок вдруг появился из вороха одеял, повернул лицо к Глинскому, но глаз не было – он спал. Цыганенок провел ручкой округло перед лицом и исчез в одеялах.

Тишина опустилась на перрон, станцию и Глинского. По перрону шла костистая женщина с аккордеоном и большой зеленой кастрюлей в сетке с привязанной крышкой, та, что играла в пивной. Она остановилась и положила на колени Глинскому полбуханки хлеба в газете и яблочко.

– Возьми Христа ради, – поклонилась и пошла прочь, хлюпая кастрюлей. Навстречу ей шел поезд, слепил прожектором, будто уничтожая фигуру, будто превращая ее во что‑то библейское, деву Марию что ли. Поезд оказался дрезиной без вагонов. Грохнула и пролетела.

В кирзачах с калошами, в бобриковом пальто, в шляпе под цвет пальто, при поросенке, Глинский был достаточно благополучен и не тянул на подаяние. И, глядя в удаляющуюся ее спину, он вдруг ясно понял, яснее некуда, что она ощутила близкую его гибель. Вспотела голова под шляпой.

Одинокий паровоз свистнул, и вместе с уходящим паровозом Глинский увидел Толика в кожаном пальто и белом кашне, идущего к нему по перрону. Станционный фонарь будто прилип к начищенным сапогам. Толик нес на голове стакан водки, полный до краев, в зубах та же длинная папироса.

Малолетка с экземой на губах поманил Глинского пальцем и заплясал с перебором. Глинский поманил его в ответ.

– Карать мужика будем, – между тем кричал малолетка, пугая и гримасничая, – схомутаем мастерок, а, мужик?!

В эту же секунду футбольный мяч смял ему лицо. И тут же Глинский почувствовал удар ногой в бок, упал и успел перевернуться, так что Толик, который попытался сапогами прыгнуть ему на грудь, грохнулся рядом, поскользнувшись. Дело было нешуточное. Глинский ударил ногой и кулаком, вскочил. Малолетка повис на сапоге, другой рвал с запястья часы. Глинский рванулся, ударил еще раз, сильно и удачно. Без сапога пробежал несколько метров, схватил первое, что попалось, – большой закопченный медный чайник, успел повернуться, ударил Толика чайником, заливая все и самого себя водой, успел увидеть выскочившего из мешка и визжащего поросенка, старую цыганку, которая кричала что‑то про чайник; Толик, видно, ударился или ногу сломал, закричал страшно, завыл. Глинский опять ударил Толика чайником, потом ребром ладони по горлу, не чувствуя холода, босой ногой побежал по рельсе и тут же увидел летящий по шпалам фонарь и еще один. Мотоциклы выскакивали на рельсы и шли навстречу, так что коляски скрежетали боком и низом по металлу, и из них шел дым. Еще он увидел заезжающий на платформу военный студебеккер, с которого сыпались солдаты. Красную ракету.

Глинский метнулся, зачем‑то отбросил сапог, побежал назад, еще не понимая до конца, что это облава на него.

Впереди на рельсы поперек, ломая днище, вылетел грузовик. В воздухе прогрохотала очередь, с кабины грузовика кто‑то орал в рупор. Глинский увидел, что прямо на него бегут, услышал еще очередь и сел на рельсы, вытянув ногу и шевеля голыми пальцами на снегу Из чайника текла вода.

– Фотографа, – орал задыхающийся, сорванный голос, – у него вся балда раскурочена… – И тут же без паузы этот же голос закричал: – Сапог его где, ну? Сапог и шляпа. Живо сюда!

– Всем, кроме военнослужащих, сесть на землю! – надрывался другой голос из рупора. – Шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте – открываем огонь…

– Ну‑ну‑ну, – забивая все, кричал над ухом женский голос.

Глинский поднял голову и увидел женщину с припухшим лицом и в валенках на босу ногу, ту, что искала мальчика. И подростка в хороших сапогах рядом.

– Ну, – кричала она. – В аптеке сперва усомнилась, голова брита, а сердце говорит – он! – Она вдруг ударила подростка по лицу и стала бить. – Вот, – кричала она при этом, – вот…

Фотограф в пижамных штанах из‑под пальто прилаживал какую‑то старинную камеру со вспышкой.

– Фары уберите, – кричал фотограф картаво, – и эту уберите. И подбородок ему подвиньте…

Только сейчас пришла боль в ушах, шее, боку Глинский сплюнул, рот был полон крови.

Фары потухли, крепкая, пахнущая чесноком рука взяла Глинского за подбородок и стала устанавливать по команде фотографа, и он впервые спокойно и ясно увидел мотоциклы, майора с жестяным рупором и футбольным мячом под мышкой в кузове полуторки, старшину с его сапогом и портянкой. Старшина светил в сапог фонарем. Окутанный паром, остановленный огромный паровоз. Толпу цыган, сидящих на шпалах, Толика в белом кашне.

Глинский подогнул леденеющую на снегу ногу и вдруг крикнул в светлые, набухающие испугом глаза Толика:

– Скажешь, что я сел, сучонок… Схомутаем мастерок, верно?! – Увидел ужас, открытый рот и то, как стоящий неподалеку милиционер рванулся, прыгнул, хватая Толика, как лопнула у того старая черная кожа пальто, как Толик в лопнувшем пальто попробовал бежать, но тут же хлестнула очередь, и милиционер сбил Толика с ног страшным ударом в зад.

Задом подавали грузовик, открывали борт, укладывали брезент, чтобы не повредить его, Глинского, не занозить, не побить лишнее.

Глинскому натянули сапог, сунули в карман портянку. У грузовика поставили стул из пивной. Вставая на стул и залезая в кузов, он опять увидел плачущего, матерящегося, почему‑то уже без пальто, Толика.

В кузове, ложась на спину, руки под голову, как ему приказали, Глинский еще услышал, как голос в рупор деловито и негромко сказал:

– В американское посольство пробирался враг с самого Каспия! – и тут же взорвался неразборчивым матом что‑то ко второй линии оцепления.

Заревели вокруг мотоциклы, Глинский, лежа на спине, улыбнулся, вспомнив блатаря, а может, не от этого, а оттого, что почувствовал покой, которого давно не знал.

Над ним было небо, из которого что‑то летело, опускалось, он не сразу понял, что так начинается снег.

Воронок, «Победа» и ЭМКа вдруг рванули на огромной скорости по разным дорогам, остался только снег.

###### КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

В этот вечер над Москвой происходила зимняя гроза, тучи сшибались где‑то в высоте с грохотом пушечного салюта. А мы переезжали из нашего шестого дома в четвертый.

Мы шли двором, так было ближе, народа на нашем пути не было. Мы с мамой тащили тяжелейшие, желтой крокодиловой кожи, чемоданы. Мама была в песцовой шубе, я в выходном пальто с бобровым воротником, и от этого казалось, что мы едем в Кисловодск.

Дворник нес на плече ковер, комендантша Полина не несла ничего, у нее болели руки, хотя, скорее всего, нести наши вещи ей было теперь не по чину, вернее, нам не по чину.

Окна «Трудрезервов» были темные, искрились во время молний, только в одной комнате было включено электричество, и там толстопопый мальчик играл на виолончели под радио.

– Вагнер какой‑то, – раздраженно сказала мама.

– Кто? – спросила Полина.

– Вагнер. Он у нас не прописан…

– Посуды у вас излишки, – сказала Полина про мой брякающий посудой чемодан и, обогнав нас, исчезла в парадном.

Трах! Ударила наверху молния, и мы вошли в парадную.

Полина открыла дверь квартиры на первом этаже и ключ отдала маме.

Я вошел последним и тащил чемодан волоком. В длинном коридоре воняло. Лампочка горела одна и была покрыта пылью.

Полина впереди достала перочинный ножик в виде женской туфельки, сняла с дальней двери сургучную печать, распахнула дверь и пощелкала выключателем.

Но в комнате оставалось темно. Окно без гардин выходило на широченную улицу, и прямо мимо нас под снегом катили грузовики.

– Приличная комната, – сказала Полина, – пятнадцать и семь десятых, – и выключила невидимую в темноте радиоточку.

Мама дала дворнику девять рублей. Дворник посмотрел на Полину, та кивнула, он взял и свалил ковер на пол.

Дверь на кухню отворилась, и оттуда вышел жирный старик на коротких не то палках, не то костылях и с расстегнутой ширинкой, из которой торчал угол рубашки. Старик без удивления посмотрел на нас, постучал в стенку и закричал:

– И что я вам говорил, Лева… Органы разберутся, и это будут не только евреи… Пожалуйста, русский генерал тоже вчера был в дамках… Выходите, выходите, в перевалочной опять жильцы…

У уборной висело множество стульчаков.

Один стульчак обит плюшем.

– Видишь, – мама кивнула на стульчак, от криков старика у нее дергались губы. – Нам же никто такую вещь в долг не даст.

– И лампочку притащи, – сказала Полина. – Скажи, я попросила…

Мама схватилась за живот:

– Видишь, ну что же мне теперь делать?!

– А орлом, – засмеялась вдруг Полина.

– Есть такая птица, ее вся Россия уважает.

Я представил, как побегу со стульчаком по двору.

– Не‑а, – сказал я и потряс перед маминым лицом пальцем… – Как все делать, так без меня, а как стульчак выламывать…

Губы у мамы стали абсолютно белые.

– Как «что делать»… – мама схватила меня за шарф и стала давить, – как «что делать»… говнюк, говнюк, говнюк…

Я сипел, Полина схватила маму, легко вертанула ее в сторону и стала хохотать.

– Кровать зато есть, – сказала она. – Правда, такого горя не заспишь, – и пошла к счетчикам.

Открылась дверь, в которую стучал старик, и из комнаты вышел не кто иной, как Абрам Момбелли. Был он в каких‑то широченных шароварах, с компрессом на горле, и на плечах у него были пришиты морские погоны. За ним, с такими же погонами, вышел Тютекин, а уже потом отец Момбелли в тельняшке, трусах и с заспанным, полосатым от подушки, лицом.

– Думаешь, от меня отвалят? – спросил он, рассматривая нас и наши чемоданы.

Полина глядела на жителей квартиры с тяжелой непримиримой ненавистью.

– Тумбала‑тумбала‑тумбалалайка, – вместо ответа запел старик, пошел к папаше Момбелли и вдруг сунулся в самое лицо Полины. – Ой, не мечите на меня громы… Сколько здесь было комендантов? – он растопырил перед самым носом Полины пять пальцев, так что она отшатнулась. – Один даже носил шпалу.

– Тю, – сказал Тютекин из‑за его спины, до него только сейчас дошло, что я к ним переехал.

– Мяу, – сказал Абрам Момбелли и пошел на лестницу.

– Я принесу, – крикнул я и почему‑то походкой Чарли Чаплина пошел по длинному коридору, никогда я раньше так не ходил.

На лестнице стоял Момбелли и ел бутерброд с сыром.

– Французский габон, – сказал я, сунул ему из кармана марки, захрюкал, изображая обезьяну, и пошел через подъезд опять походкой Чарли Чаплина, скосив голову и глупо улыбаясь.

На лестнице было тихо, и, пока я открывал дверь в нашу старую квартиру, я услышал, как попугай внизу сказал:

– Петруша, голубчик, здравствуй, – и закашлял, как старичок.

В прихожей в кресле с золотыми ручками сидел мужик в бурках и смотрел на меня. На коленях лежала открытая подшивка «Нивы».

– Полина велела, – крикнул я ему, – стульчак забрать и две лампочки, – и тут же ощутил прямо за своей спиной еще человека. И сразу увидел его в зеркале. Он был в галифе и маминых тапочках.

Дверь в папин кабинет открылась, там стоял высокий широкоплечий дядька с длинным лицом и с железными зубами. За ним под картинкой у стола стоял отец.

Я хотел крикнуть и не мог. Отец пошел вперед, и тогда я понял, что это не отец, а просто очень похожий на отца человек, правда, почти совсем лысый, со светлым пушком на голове. Он был в генеральских брюках навыпуск, в отцовских полосатых американских подтяжках, в руках у него был отцовский стакан с подстаканником и лимоном.

– А, – сказал дядька с железными зубами и ткнул в мою сторону рукой с отцовской трубкой «Данхилл». – Ты зачем это печать сорвал?

Я замер, только продолжал улыбаться.

Лицо у него вдруг стало ужасным, нечеловеческим, исказилось мукой. Он взялся за рот, прошел каким‑то кругом и стал ставить на место верхнюю челюсть. Челюсти чавкнули, и лицо приняло прежнее выражение.

Отворилась дверь, вошел дядька с пуделем, весь в снегу, и тоже стал смотреть на меня. Их было четверо. Пусто и гулко во всех комнатах. Двери повсюду открыты, и ни бабушки, никого.

Они все смотрели на меня.

Я стоял и вертел головой.

– Ну ступай, – сказал тот, с железными зубами, – бери, что тебе там надо, и портфель возьми, как же ты без портфеля… И мамаше лодочки, – он пододвинул ногой мамины туфли, – если куда пойти…

Я опять походкой Чарли Чаплина, отставив руку, просеменил в уборную. Текла вода, тихо, как маятник, над головой качалась мраморная ручка‑цепочка.

– Можно я по‑большому, – крикнул я, закрыл дверь, встал на колени рядом с унитазом, сложил пальцы, правильно ли, и стал молиться Богу словами бабушки, которые в дикой чехарде приходили мне в голову.

– Господи, – бормотал я в ужасе, обращаясь к сортирному окну, – иже еси на небеси… Пусть отпустят папу… Да святится имя твое, да приидет царствие твое… – вспоминал я, – даждь нам днесь – это я совсем не знал, что такое.

Бах! Грохотала гроза за сортирным окном, и валил снег.

На пустой в этот вечерний час развилке «Дровяное» грузовик выехал из густого снега, будто проявившись, остановился, Глинского подняли, он спрыгнул вниз и увидел «Победу», ЭМКу и продуктовый фургон, «Советское шампанское» – было написано на фургоне. Из‑под смерзшегося желто‑грязного снега наливался рисованный виноград и серебрился фужер. У «Победы» курили несколько человек. Задняя дверь «Советского шампанского» была открыта. В полутьме еле угадывалось нутро «воронка» и горела маленькая, очень яркая синяя лампочка, как звезда.

– Моя машина, – сказал Глинский. – Попрошу налить!

– Там нальют, – мирно пообещал голос из глубины темного фургона, и Глинский шагнул навстречу этой темноте и этой звезде.

###### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ранним утром на следующий день – собственно, утром это время назвать было еще нельзя, даже дворники не приступили к работе, – в центре Москвы орали петухи. Зимняя гроза прошла, оставив много снега.

Директор кухни‑ресторана, тот, что угощал Линдеберга и играл на флейте, вез из подмосковного совхоза на свою кухню петухов.

– Встряхни их, – сказал он шоферу, – нельзя же так, мешают думать, – и протер чистым платком мундштук флейты.

Шофер, грузинский паренек, которому он когда‑то драл ухо, встряхнул, петухи помолчали немного и запели опять.

…Во дворе 36‑й ментовки Федя Арамышев, уже сутки припухавший на нарах за историю с «опель‑капитаном», вместе со старшиной бежали к «воронку».

– За таким гондоном такой транспорт, – удивился на бегу старшина.

Залезая в «воронок», Федя притормозил и глянул на небо.

– Замучили вы, псы, человека, петухи слышатся…

Старшина вбил тощий Федин зад внутрь «воронка» и вдруг тоже удивленно поднял голову.

…Вайнштейн с женой ночами не спали, а сидели в скверике у дома, причем жена иногда задремывала, Вайнштейн же сидел прямой и такой неподвижный, что в этот раз рядом с ним села ворона.

Вайнштейн тоже вздрогнул и тоже резко поднял голову, выронив изо рта потухшую сигару.

За окном машины проплыла улица, цветочный киоск и возник фонарь кухни Варвары Семеновны. За стеклом виднелось что‑то белое, не то одежда, не то лицо, а может, белье на веревке. Тихо играла флейта.

Темнели окна приземистых домов, и громоздились в небо невиданные небоскребы‑храмы. Раздался протяжный свисток.

Светлая «Победа» обошла грузовик, выскочила на Садовое кольцо и стала поперек, выпустив из себя каких‑то одинаковых людей. От такой же «Победы» на углу бежали такие же люди, загоняя грузовик прямо в сугробы на тротуар. Улица позади озарилась, вспыхнула нестерпимым сиянием, и из этого сияния, из протяжных коротких свистков стали вдруг выскакивать огромные черные машины, урча моторами танковой невероятной силы, отражая лаком огни фонарей. Одна за одной они выворачивали на Кольцо, под белыми их колесами, казалось, дергалась земля. Они проносились мимо, оставляя в воздухе белую снежную пыль. И тут же раздался еще один протяжный свисток, и пошли еще такие же, огромные, черные, прорезая ночь. Казалось, еще усилие, еще немного, и они взлетят. И только проехали эти, пошли следующие.

– Может, это война, батоно? – спросил побледневший шофер. Они оба вылезли и стояли по колено в снегу.

Директор не ответил.

Неожиданно огромный дом стал вспыхивать ярким электрическим светом в окнах, и в следующем, длинном и плоском, как по команде, зажигались этажи. Вспыхнули колонны, фонари у входа.

И будто в ответ с новой силой заорали петухи.

Через две минуты, а может, и того меньше, такое же сияние, возникшее через паровозный дым, и эта же вереница машин напугали дворника на Басманной в доме генерала. Он воткнул в снег лопату и отошел от калитки.

В этот же самый предрассветный час «воронок» «Советское шампанское» резко свернул с проселка на шоссе. В свете фар другой, стоящей на перекрестке дорог машины мелькнул золотистый виноград и пропал. Вторая машина была тоже «воронок», но лишенный камуфляжа, грязный и унылый, из тех, что зовут «Марусями». Теперь машины быстро ехали одна за другой.

Дорога была в наростах льда, машина ли старая или плохо сделанная, где их там делали, эти забавные машины, но Глинскому показалось, что всем своим скрипучим нутром, рессорами, решетчатыми дверями машина что‑то шепчет, бормочет, вскрикивает и иногда говорит фразу, одну и ту же, с болезненно знакомыми словами, которые нельзя различить.

И ярко‑синяя крошечная, но слепящая лампочка моргает, соглашаясь с этими словами.

Пахло блевотиной и керосином.

Тишина остановилась, ощущение было такое, будто остановился поезд, а не машина, кто‑то прошел по крыше и стукнул ногой, закрыл люк. Машина принимала людей. Запах свежего воздуха и мороза ненадолго вытеснили другие запахи. Где‑то далеко и очень мирно брехала собака.

Машина опять тронулась, очень хотелось выпить. Было холодно, Глинский прятал руки в рукава, а подбородок в воротник. Он вспомнил оставленную у Шишмаревой бутылку и покривился.

Перед лицом Глинского вертелись, усаживаясь, ватные засаленные штаны. И кто‑то мучительно кашлял.

– Да он старый, – сказал сиплый голос, – не‑неа, – кашлянул и добавил что‑то на воровском жаргоне.

– Я тебе некну, – сказал другой. – Я тебе некну, я тебе некну… – и засмеялся. В интонации «некну» была странная нежность.

Голоса заспорили.

– Я тебе некну, я тебе некну, – все повторял голос.

– Лопату дай, черенок, – сказал первый голос, но другим тоном, – он же очком сыграет.

Только теперь Глинский поднял глаза и увидел очень большую бугристую голову. Шея человека была завязана грязным бинтом, глаза выпученные, лицо удивительно белое, в углу рта нарыв.

– Чего смотришь? – спросил большеголовый. – Мы тебя педерастить будем. А ты смирись… А то такое дело, озвереем. Жопу рвем и пасть… Куснешь – зубы вынем…

– Ты не переживай, дядя, – добавил совсем третий голос, – если уж все равно фраер, петухом жить даже лучше.

– Сержант, – крикнул Глинский.

Сержант был вот он, в трех метрах за решеткой. Собственно, видно его не было. Белые полушубок и валенок, рукавица на шнурке. И то и другое оставалось неподвижным.

В следующую секунду какая‑то огромная нечеловеческая сила, сопротивляться которой было бы вроде бесполезно, схватила Глинского за шею, потянула голову вниз. Его ставили на четвереньки, под живот ему кто‑то подставил колено. Ударили под дых, забрасывали наверх пальто, рвали вниз брюки. Он рванулся, почувствовав, как что‑то втыкают, вводят, заталкивают в зад. Черенок лопаты – будто вдавливают внутренности, рвут кишки.

– Тихо, Маруся, тихо, – говорил голос, – не‑а, не‑а…

Дальше он почти не слышал, сипел, его же шарфом давили шею.

Третий, он его почти не видел, сел сверху.

Глинский видел кусок ремня, жирный волосатый обвислый живот, пальцы как‑то профессионально заткнули ему нос, дышать можно было только остатками рта, живот приблизился, смрадное воткнули в рот.

– Старый, старый, старый, – хрипел голос, – не‑а, не‑а, старый…

– Соси, глаза выдавлю, – говорил другой.

– Ах‑ах‑ах, – выкрикивала машина, и что‑то нежное, странное скрипели ее сочленения. Потом машина остановилась.

– Старый, старый, – захлебывался голос, – а‑а‑а, – голос всхлипнул.

Шарф отпустил горло, воздух ворвался в легкие, будто разрывая их.

Глинский, придерживая штаны, хватая воздух ставшим смрадным своим ртом, пополз на четвереньках.

Открылись решетка и дверь. За дверью был мутный рассвет. Глинский выпал на снег. Рядом спрыгнули ноги в валенках.

– Умойся, – сказал голос, – ты же обмарался.

Встать Глинский не мог, его вырвало, он запихнул в рот снег и, держа тающий снег во рту, пополз по‑звериному вдоль канавы, инстинктивно чуя, что где‑то вода. Штаны сползли, обнажив зад. Сержант подтянул штаны. Глинский обернулся, увидел, как из машины выбросили лопату. Машина стояла у каких‑то баков. Занимался рассвет.

За машиной было поле, на которое медленно садились птицы, а еще дальше какие‑то недостроенные цеха.

Вода была рядом, била из‑под снега, здесь лопнула труба. Глинский стал пить и вдруг явственно услышал, как детский голос сказал: «Он пил длинными, как лассо, глотками». Он резко повернул голову на несуществующий голос и так же резко сунул ее всю до затылка в ледяную воду. Но сержант вытащил его за воротник.

– А то «попрошу налить»! – сказал сержант. – Не играй с судьбой, дядя.

– Дай кружку, – голос у Глинского прорвался писком.

– Нельзя, дядя, – сказал сержант и покачал головой. У него было простое русское лицо, не злое, скорее доброе, и был он уже немолод. – Теперь тебе из другой посуды надо пить. Так уж жизнь построена.

От машины свистнули.

– Дай тряпку, – крикнул голос.

Огромный, с белым лицом уголовник брал с заднего крыла машины пригоршнями снег и оттирал низ голого живота.

Двое других курили как после работы. Они были в ватниках и ватных штанах. За их головами золотились нарисованные на кузове кисти винограда.

Хлопнула дверца. Из кабины «воронка» с бутылкой молока и пачкой газет в кармане вылез лейтенант – начальник конвоя. Был он в ботинках и затоптался, не желая идти по снегу.

– Сержант, – поинтересовался он, – почему печка на спецтранспорте не работает?! – И, глянув в глаза Глинскому, сухо добавил: – Индивидуального спецтранспорта для вас нет, претензий принять не могу… Так будет, блядь, печка работать… – он громко крикнул только последнюю фразу.

Глинский сгреб снег, сел на него голым своим трясущимся задом и закрыл глаза.

Завелся мотор. Глинский открыл глаза. В руках у лейтенанта молока не было. По глубокому снегу быстро шла «Победа» с почему‑то работающими дворниками.

Из «Победы» вылезли штатский в бурках и генерал медицинской службы. Еще кто‑то остался внутри. Генерал был вроде он сам, Глинский, не он, конечно, а тот, похожий, из больницы. Стакун Э. Г., 1906 года рождения. Глинский перестал смотреть на них, а стал смотреть на снег перед собой.

– Ну‑ну, – сказал простуженный голос рядом, – ну‑ну… – Штатский рылся в карманах. – Дай ему сахару… – Достал из кармана колотый кусок рафинада, обдул мусор и передал Стакуну. Сам же подошел к лейтенанту, выдернул у него из кармана газету, этой газетой взял лопату и пошел к уголовникам или кто они там были. – Ну что, козлы?!

– Бе‑е‑е, – шутливо ответил большеголовый; засмеялся и ахнул, потому что штатский коротко и страшно ударил его черенком лопаты, раз и другой. Он не бил, скорее убивал. Большеголовый свалился и попытался спрятать голову под колесо «воронка», под цепи. Штатский выколачивал его голову оттуда, как выколачивают камень или пень.

Стакун понюхал обшлаг шинели.

– А ты одеколоном душишься? Брито. Стрижено да еще надушено… – Стакун потыкал сапогом снег в крови. – Гляди, он тебе попу порвал…

Штатский бросил наконец лопату и газету и пошел к ним, забрал у Стакуна кусок рафинада и сунул Глинскому в рот. И как собаку, стал трепать его, Глинского, за лицо.

– Ну‑ну, – говорил он. – Ну‑ну, ничего… Беда небольшая.

В это время уголовник закричал страшно, одиноко, как иногда кричат люди, умирая. Птицы поднялись над полем, были они не вороны, а чайки. Когда уголовник перестал кричать, Глинский услышал странное хлюпанье и вдруг понял, что это хлюпанье из его горла, что эти звуки избитой до полусмерти собаки издает он сам. И сосет при этом сахар. И тогда вцепился зубами в пахнущую мазутом перчатку.

Он ждал удара, но его не было, все смеялись.

«Воронок» между тем давал задом. Дверь была открыта. Надвигалось темное утро, там опять светилась лампочка. Сержант шел рядом, придерживая открытую дверь. Глинский подтянул штаны и сам пошел навстречу этой лампочке‑звезде.

Сержант поуютней устраивался на месте. «Воронок», набирая скорость, опять заскрипел, зашептал и запел что‑то знакомое с детства. Глинский вдруг понял, что поет не «воронок», а один из его мучителей, уголовник напротив. Он пел, а Глинский пытался услышать слова, вовсе не понимая, зачем ему, Глинскому, это нужно. Второй уголовник сидел, широко открыв рот. Неожиданно «воронок» резко остановился, будто наткнулся на что‑то. Хлопнула дверь, раздались громкие голоса, слов не разобрать, кто‑то несколько раз, кулаком что ли, ударил по кузову.

Сержант открыл дверь, на улице было яркое солнце, праздничный детский день, всунулась голова, потом вторая.

– Кто на «г»? – спросила первая голова, выдохнув клуб пара.

– Да ладно, не видишь, что ли… – крикнула вторая. – Жалобы есть, нет? – Не дожидаясь ответа, кто‑то захлопнул дверь. И тут же еще раз бухнул кулаком снаружи. Дверь опять открыли и опять закрыли.

На потолке откинулся маленький люк.

Яркий квадрат света лег у ног Глинского. В этом квадрате Глинский увидел свою калошу, спавшую с ноги, когда его мучили. Потянул к себе. Но надеть не было сил, и он засунул ее в карман.

Дверь еще раз открылась и долго не закрывалась, стало очень холодно.

В белом дверном мареве возникла голова лейтенанта – начальника конвоя.

– Чудный день, – сказала голова и пропала.

Сразу же возникла другая голова и приказала:

– Кто на «г», выйти.

– Давайте, – торопливо крикнул сержант.

Глинский что‑то зашептал, выхватил из кармана калошу, всунул в открытый рот уголовнику и сам услышал при этом срывающийся писклявый свой голос:

– Жри, жри… – говорил этот голос.

Уголовник больно ударил Глинского в пах. Глинский вцепился пальцами ему в глаза. Тот закричал. Но Глинского дернули и вырвали из машины.

Штаны у Глинского опять упали. Он увидел легковые машины и несколько вовсе незнакомых штатских. «Воронок» стоял в железнодорожном тупике. Один из штатских в каракулевой ушанке сел на корточки и поднял ему брюки.

– Отдайте ему свой ремень, – сказал второй штатский лейтенанту, начальнику конвоя. – Я брючный имею в виду… Уйдите за машину, оправьтесь и вытритесь там… – Он достал большой клетчатый носовой платок, плеснул на него минеральной воды из бутылки и протянул Глинскому.

Глинский смотрел не понимая.

– Не надо, так не надо, – сказал штатский и выбросил и платок, и бутылку. – Наденьте ему калошу.

Лейтенант присел на корточки, он надевал Глинскому калошу, прихлопывая ладонью.

– Как сказано, так сделано, – бормотал лейтенант, – как сказано, так и сделано… – и вдруг снизу улыбнулся Глинскому.

Быстро подкатила большая грязно‑белая трофейная машина.

Двое сноровисто скатали с заднего сиденья ковер, пропустили Глинского в середину и сели с боков, плотно зажав его локтями. Приемник в машине был включен. «Не люблю север, что за прелесть юг», – сказал женский голос, и заиграла гитара. Машина очень резко взяла с места, пошла юзом. Было видно, как метнулись в разные стороны люди. Борт «воронка» в сосульках пролетел у самого лица. Обросшие снегом вагоны вдруг кончились, и в глаза ударило солнце, ослепив на некоторое время.

Когда солнце ушло, за окном была улица какого‑то подмосковного городка.

Молодая женщина постучала по капоту, помахала рукой в цветной варежке, постойте, мол, и глянула на них, будто их не видя.

Дети шли в школу. Все было сном.

Объехали красный кирпичный, будто заледенелый дом, въехали во двор к штабелям железных кроватей и побежали к черному входу. Глинский опять потерял калошу, остановился было, но его тянули за рукав. Он вырвался и все‑таки взял калошу.

Было видно, как во двор быстро въезжали еще «Победы» и бежал человек с судками.

Коридор был действительно гостиничный, красная с зеленым дорожка, много фикусов, но впереди, сзади и по бокам шли люди с одинаковыми лицами и в похожих пальто.

Горничная с бельем и ящиком не разрезанной для уборной бумаги стояла лицом к стене и так же стояла дежурная. Укутанный паром, как паровоз, клокотал титан.

Слева открылась дверь номера, но тот, кто шел впереди Глинского, впихнув человека в пижаме с чайником обратно, ногой с грохотом захлопнул дверь. Дверь тут же открылась опять, тот в пижаме был с норовом, и один из сопровождающих шагнул в номер, грудью оттесняя любопытного. Они не то бежали, не то шли. Перед ними милиционер нес два ведра кипятку. Чтобы не обжечься, он был в перчатках. Дверь впереди была открыта. «Семейный люкс» – табличка с золотом на двери. Большое мутное зеркало, в нем Глинский увидел всех и не узнал среди всех себя. Чтобы узнать себя, снял шапку, поднял вверх и опять надел.

В номере на столе было много бутылок боржома. У края стола сидел Стакун и выкладывал из мелочи узор. Стакун был без шинели, без кителя и даже без рубашки, в майке, в галифе с лампасами и босой.

Во второй комнате человек с зашитой заячьей губой торопливо выкладывал на стол бумаги.

– Генерал‑майор Глинский. – Одна из бумаг испачкалась в яйце, и он осторожно вытер ее портьерой. – Ставлю вопрос, прошу отвечать продуманно и четко. Отказываетесь ли вы от того, что, являясь связником террористического сионистского центра в Лондоне с группой военных врачей‑вредителей в СССР, убили второго сего года во дворе своего дома связника из Швеции. Если отказываетесь, распишитесь… Вот здесь, вот ручечка.

– После, после, в другой раз… – Штатский в каракулевой ушанке, он так и не снял ее, провел рукой по лицу Глинского, втянул носом воздух. – Парикмахера, ванну, форму, живо. Иди, иди, – и пятерней стал толкать Глинского.

Возник еще один штатский с кителем Глинского, на кителе были навинчены ордена, и с сапогами.

– Труба, – сказал штатский и помахал сапогами. – Они не его. Двойника нога на два номера меньше, – он сел на корточки и приложил сапог к босой ноге Стакуна.

Глинский почувствовал, как хрустнула шея, когда он повернул голову к Стакуну.

– Я попробую одеколоном и клинышком, – торопливо забормотал штатский и начал лить в сапог одеколон из флакона. – Номера‑а нет, нет номера, им, генералам, шьют…

– Штаны мне доставьте. – Стакун включил и выключил настольную лампочку. – А то галифе не отдам, – сказал он.

– Нет, не в другой, – закричал тот, с заячьей губой, который требовал у Глинского подпись. – Есть отказ – одна песня, нет отказа – я против… – и брызнул слюной.

– Да и х… с тобой, что ты против, – сказала «каракулевая ушанка». Он промокнул очень гладко выбритое лицо пресс‑папье. – Ныряй в ванну, генерал, тридцать секунд, понял?! – И, поглядев на Глинского, добавил, щелкнув Стакуна по лбу: – Все в нем, вишь, хорошо, а что хуево, секрет… Парикмахер где, ну?!

Штатский лил в сапог очередной флакон и качал головой, очень сильно пахло одеколоном. В ванной, куда шагнул Глинский, в пару угадывалось зеркало в золотых вензелях. Глинский опять не узнал себя и поднял руку. И тот, в каракулевой ушанке, будто понял или понял на самом деле и набросил поверх грязного, с вырванными пуговицами пальто Глинского генеральскую шинель.

– Вот так, – сказал он. – Не нагой войдешь в мир иной, а в мундире, верно?! Это все евреи придумали, нагой, нагой, – и опять толкнул Глинского в спину.

Над зеркалом было открыто окно, и пар устремлялся в мороз. За окном было дерево, на ветке сидела большая птица и внимательно смотрела на Глинского.

Так же стремительно, почти бежали они по коридору. За ними вдруг устремилась горничная, хромая старуха, стала показывать Глинскому прожженную утюгом простыню и крикнула:

– Зачем они толкаются?..

Глинский не сразу понял, что кричит она ему, потому что он один здесь в форме и потому что он генерал.

Сапог жал, тошнило от запаха одеколона. Все, что происходило, происходило вроде не с ним, а с кем‑то другим, мокрым, казалось, даже шинель промокла, с отчаянно болящим задом и порванным ртом человеком, зачем‑то выставляющим из‑под шинели китель с орденами и лауреатской медалью. Он, этот другой человек, выставлял ордена, как будто они могли его защитить, поэтому шел боком, а получалось, будто он военачальник среди приземистых и крепких людей.

Грязно‑белая машина буксовала в стороне. К машине почти бежали. «Победа», «воронок», «Шампанское» – все здесь. Растерянный лейтенант из «воронка» торопился навстречу с бумагами, арестованного у него забрали, накладная нужна, что ли, или как там у них, человек с заячьей губой что‑то доказывает «каракулевой ушанке», а вот и Стакун рядом, в драном, застегнутом под горло, его, Глинского, пальто, серые брюки, дали все ж таки, в зубах трубка «Данхилл», его, Глинского, из дома. И смотрит доброжелательно, спокойно, будто знакомого в отпуск провожает.

У самой машины среди всех этих людей Глинский опять поскользнулся и, вставая, увидел вдруг, что машина стоит на обрыве, земля внизу уходит черт знает как далеко и там, по этой земле ползет пассажирский поезд с белым паровозным паром и черными дымками над вагонами.

Ковер в машине был уже не скатан, рядом сел всего один, и в заднее окно Глинский опять увидел поезд.

– Астраханский, – хохотнула «каракулевая шапка». Машину толкнули, она пошла юзом, ударив лейтенанта, уже невидимый паровоз загудел, а когда кончил гудеть, навстречу неслись деревья под снегом и в солнце.

Грязно‑белая машина остановилась на шоссе у деревянной будки. В блестящих, не тронутых пылью сугробах были аккуратно прорыты тропинки, и сразу же из‑за КП выехал тяжелый черный, будто только что вымытый и отполированный ЗИМ на белых колесах.

Машина приткнулась к обочине, стояла как‑то несмело, и те, что сопровождали Глинского, не сделали от нее ни шагу. Из ЗИМа вышел майор госбезопасности, в тонких сапогах, приталенной шинели и синей фуражке на морозе, открыл заднюю дверь и, вежливо и сухо козырнув Глинскому, предложил сесть назад. На сопровождающих Глинского он вообще не смотрел.

Сапог запнулся о порожек ЗИМа, подметка надорвалась, пропустив холод и снег.

Садясь в огромное кожаное нутро, Глинский поднял голову и опять увидел голые ветки и огромную внимательную птицу, смотревшую с этой ветки на него. ЗИМ тронулся.

Майор сидел впереди, он вдруг сухо спросил:

– Почему так пахнет одеколоном, товарищ генерал‑майор, придется умыться…

– Это сапог размачивали, – медленно сказал Глинский. – Я, видите ли, был арестован, – он поискал еще слово, но не нашел и сказал «избит». – Мне изготовили двойника ради циркового представления на судебном процессе, очевидно… – губа в углу рта лопнула, он вытер ее запястьем, а запястье о ковер обивки, и замолчал, почувствовав, что говорить бесполезно.

Синяя фуражка была совершенно неподвижна. И в зеркальце Глинский увидел, что майор спит, оттопырив длинную нижнюю губу.

Шофер включил приемник, и знакомый уже женский голос произнес:

– Прелестная, прелестная вещь юг, – и заиграла гитара. Продолжалась та же постановка.

ЗИМ резко свернул, майор как по команде проснулся.

– Прошу извинить, – сказал майор и задернул перед Глинским белую занавеску.

Машина остановилась, дверь открыли, он вышел и увидел высокий штабель дров и торопящегося по аллее человека на костылях, с ногой в гипсе, в длинном ратиновом пальто. Человек вдруг остановился и пошел прочь.

ЗИМ дал назад, открыв не то лес, не то сад. Летчик в расстегнутом мундире играл с рыжей собакой. Он поднял на Глинского лицо, глаза были заплаканы. На аллее стояла лошадка с обмерзшей мордой, в санях в снег была воткнута лопата. Дальше в глубине топилась баня.

Глинский с майором быстро поднялись на крыльцо чем‑то похожей на барак, приземистой двухэтажной дачи.

И вошли не то на веранду, не то в тамбур. Здесь пахло морозом, рассолом, зимним обжитым домом, стояли засохшие саженцы, на поломанном шахматном столике – недавно сделанные скворечники. Не раздеваясь, они прошли коротким коридором и стали подниматься по очень узкой деревянной лестнице. На ступеньке сидела женщина, она плакала, нога была волосатая, без чулка.

Они захотели обойти ее, но она махнула майору рукой. Майор послушно пошел обратно вниз, за ним пошел Глинский. Здесь появился человек, и у Глинского приняли шинель. Они прошли еще по коридору. Навстречу вышел немолодой, сильно небритый кавказец в мятой рубашке со спущенными подтяжками, в шлепанцах, мучительно знакомый, откуда, Глинский не знал, с несчастными растерянными глазами. Внимательно посмотрел на Глинского, погрозил ему пальцем. Вдруг заплакал, ушел и тут же вернулся со стаканом воды и таблеткой. Принял таблетку и сказал:

– Пирамидон.

Где‑то в доме слышались голоса.

– Хочешь есть? – спросил человек и, не дожидаясь ответа, добавил: – Иди, помоги, – и, взяв Глинского за руку, повел коротким коридором мимо открытой двери нечистой уборной с горшком и судном на полу, мимо сваленных кучей грязных обмоченных простыней, мимо двух аппаратов искусственного дыхания.

– Не работают, – сказал кавказец. – Эх!

В комнате лежал старик, пораженный инсультом, небритый, рябой, с кривым, медленно шевелящимся ртом, будто не вмещающим распухший язык. Рядом сидела женщина с бессмысленным лицом, по‑видимому, все‑таки врач. Агония сотрясала тело старика, затылок, шея, заушные впадины были в пиявках.

Глинский встал на колени, взял руку, положил голову старику на грудь, пульс уходил. Небритое лицо было близко. Вместе с дыханием из организма выходил ацетон, рот в слюнях забормотал что‑то в забытьи. Где он был, над какими горами и долинами витал его дух, что грезилось ему, истекающему слюной… Глинский снял одеяло, живот был страшно вздут, газы не отходили, удивительно, но старик был в обмоченных подштанниках, и Глинский стал снимать их, приказал готовить пять кордиаминов и газоотводную трубку. И тут же стал массировать старику живот, страшный, вздувшийся, мошонка казалась маленькой, детской. Старик пробовал кричать и не мог, по лицу текли слезы. Потом газы отошли с долгим мучительным свистом. Глинский стал гладить небритое лицо, это иногда снимало страдания. Старик попытался опять бормотать неподвластным ему языком, сознание на миг вернулось. Что‑то неразборчивое – «Спаси меня» и про Бога. Все умирающие говорили одно и одинаково плакали. И вдруг старик поцеловал Глинскому руку Глинский все гладил лицо и говорил ничего не значащие успокаивающие слова, говоря их, поднял голову и увидел устремленные на него, вытаращенные глаза того, кто его привел. Того тошнило от запаха испражнений, ацетона и гнили умирающего организма, но на Глинского он смотрел потрясенно.

– Это ваш отец? – спросил Глинский.

Человек удивился чему‑то, склонил голову к плечу и кивнул.

– Отец, – сказал человек. – Ты хорошо сказал. – Быстро отошел и открыл форточку.

Газы между тем со свистом отходили вместе с жизнью старика. Кто‑то стал дергать дверь и бить в нее. Человек выматерился, отбежал и закричал, чтобы кого‑то убрали. За дверью раздался плачущий крик, топот сапог и стало тихо. Нога старика мелко дрожала, беспомощная, жалкая, в натруженных мозолях, со скрюченными пальцами.

Тюль над форточкой резко взлетел, зашуршали книги на столе, там же стоял недоеденный суп, лежала дратва и заготовка кожи для сапога. Ветер зашелестел мятой газетой на ковре в больших пятнах и медленно открыл дверцу большого полированного шкафа. Там висели защитные брюки с лампасами, кители – военный старик был, что ли, кто же такой? Дверца открылась шире, обнаружив серый китель с неправдоподобно огромной красной звездой на широченном золотом погоне.

Солнце ли упало на погон или так почудилось, погон вдруг брызнул светом.

Лежащее перед Глинским зловонное страдающее тело было Сталиным.

Глинский медленно убрал руки с вздувшегося мокрого живота старика.

– Попрощайтесь, – сказал Глинский, сам почти не услышал своего голоса и полувопросительно, ожидая подтверждения этого невероятного, добавил не оборачиваясь: – Товарищ Сталин уходит…

– Может быть, разрезать, – тоскливо сказал кавказец, показав ребром ладони себе на голову. – Мне сказали, ты умеешь…

Глинский покачал головой.

– Тогда выйди туда, – сказал кавказец. – Нет, подожди, нажми еще, ему будет легче, пусть перднет… – человек там, над Глинским, заплакал.

Глинский нажал, но звука не последовало. На губах старика медленно надулся и застыл, не лопаясь, пузырь. Из‑под полуопущенного века возник стеклянный гневный белок. Глинский закрыл старику глаза, убрал язык, аккуратно положил одеяло, прикрыв голое тело, встал и пошел, куда ему показали. Это был коридор, за ним кухня. С порога он обернулся.

На диване, накрытый серым одеялом, лежал Сталин, теперь похожий на себя, рядом груда обмоченных простыней и обмаранные подштанники. Глинский закрыл дверь.

На кухне стоял бледный полковник, плакала женщина, в тапках на огромных ногах. Она без слов поставила перед Глинским гречневую кашу. Было слышно, как в комнату за дверью входят люди, потом раздался страшный крик, кто‑то матерился и плакал, кого‑то тащили. Глинский сидел, каша парила ему в лицо, он ни о чем не думал и держался руками за стол. Потом дверь открылась и вошел тот, сел напротив. Ему тоже поставили кашу.

– История, – сказал человек, – мировой катаклизм… Иди домой, зачем здесь. – Вытер ладонью глаза и спросил: – Что он тебе сказал?

– Слова были неразборчивы, – ответил Глинский. – Сказал – спаси меня, так я думаю, и про Бога, но я не понял…

– Значит, Бог есть, – сказал человек и положил перед Глинским кривую трубку, – на… – Что‑то он там протирал под столом скатертью… – Но никогда не говори, пока я не разрешу… И что он сказал, я тебе расскажу тоже… Ступай, тебя отвезут, как твоя фамилия?

– Глинский, – сказал Глинский.

– Это хорошо, – сказал почему‑то человек, вынул из‑под стола пенсне, его он и протирал, надел и добавил, обращаясь к чему‑то внутри себя: – Звезда упала, как лошадь, понимаешь?! Катаклизм! – Глаза под стеклами резко увеличились, будто выкатились из орбит. Выражение лица, впрочем, все лицо резко изменилось, превратясь в знакомый портрет.

– Товарищ маршал, – вдруг крикнул Глинский, вцепившись в стол…

– Пустяки, пустяки, – заорал вдруг Берия и ударил кулаком по столу так, что полетела посуда. – Пустяки! – Он встал, подошел к Глинскому, схватил его за голову и поцеловал. Потом повернулся и вышел, громко крикнув на ходу: – Хрусталев, машину!

За ним метнулся бледный полковник. Через кухню два заплаканных офицера госбезопасности пронесли большую картину, не портрет, нет, темно‑зеленый, почти черный лес. Слепая вода и белый козленочек на берегу.

Окно на кухне было открыто, оттуда шел холод.

Огромные черные лакированные машины с моторами танковой силы уезжали по аллее. Одна остановилась и загудела, из нее вышел человек, сел на скамейку и схватился за голову. Пошел крупный мягкий снег.

Шел снег. Глинский стоял под вечереющим небом в своем собственном дворе рядом с черным ЗИСом, который его привез.

Дворник показал рукой, куда идти, и торопливо полез в ЗИС, тщательно отряхивая валенки.

– Айн момент, – крикнул он Глинскому, растопырив пятерню. – Радостно знать.

Во дворе гулял человек с пуделем. Он вдруг привязал пуделя к водосточной трубе, побежал и на ходу запрыгнул в ЗИС. ЗИС рявкнул клаксоном, вертанул на Плотников, напугав прохожих. Было тихо и слышно, как идет снег.

Глинский постоял среди высоких сугробов, аккуратно поставил лопату дворника к стене и пошел вдоль окон «Трудрезервов».

За одним из окон оркестр репетировал «Танец с саблями», работали только барабаны. Барабанщики смотрели в окно, но получалось, что в глаза Глинскому, стук проходил через двойные рамы. Глинский вдруг снял папаху, поднял руку вверх, другую отставил и, зацепляя неровности льда оторванной подметкой, двинулся по двору в этом танце.

Я выносил помойное ведро и шел к помойке своей новой походкой Чарли Чаплина. Чтобы так идти, надо смотреть прямо перед собой. Я увидел отца, только когда повернулся весь целиком.

Он же не видел меня за сугробами. С поднятой вверх рукой отец мелко перебирал ногами. Подметка была оторвана и хлюпала, лицо было бледное, абсолютно спокойное, и на губах болячки. Он остановился, попытался рукой поджать подметку, потом вдруг рванул ее и бросил в сторону. Так и вошел в наш подъезд. Тугая пружина ударила дверью.

Из ведра мне на ноги натекла помойная жижа. Во рту пересохло, ноги подкашивались. Я побежал по двору каким‑то кругом, не зная куда, и не зная зачем. Толстый мальчик играл на скрипке, я бросил в него ведро, но оно не долетело до стекла.

Я вбежал в подъезд, прижал дверь спиной, чтобы не хлопнула, и сунулся в коридор.

В коридоре стояли Лева и Дина. Дина курила Леве в открытый рот, а он затягивался этим дымом.

– Они, русские, всегда разберутся, – говорила Дина. – А мы так и будем.

– Оставь здесь все, – говорил голос отца из маминой комнаты.

– Да‑да‑да‑да‑да… – говорил голос мамы… – Только Лешины учебники и паспорт.

– Дайте мне кто‑нибудь калошу… Эй вы! – крикнул голос отца. – Да принесут тебе все.

– Мы не эйвы… – Из кухни появился Юрий Давидович, рубашка, как всегда, торчала из ширинки. – Может, налить борща, – важно добавил он. – Вы ведь не из Сочи, мне почему‑то кажется… Хотелось бы посмотреть вашу справочку, я, знаете, старший по квартире…

Лева отобрал у Дины папиросу и пустил в сторону нашей комнаты кольцо.

– Пошли отсюда, – сказал отец маме.

Мама была в халате и в шубе, с моим портфелем и серебряным соусником. Меня, на счастье, никто не видел.

Я выскочил на лестницу, поднялся наверх, стал на колени, выжал мокрую от помоев брючину, хотел молиться, но ничего не получилось. Слова не шли, только какой‑то звук – гы‑гы…

Из квартиры никто не выходил. Я сбежал вниз. В коридоре никого не было. Все были на кухне, оттуда шел галдеж, и Дина пиликала там на гармошке.

Я подбежал к телефону, схватил трубку и вдруг увидел у вешалки отца. Я стоял с трубкой, а он в сапоге без подметки. Мы смотрели друг на друга. А на кухне хохотала мама Момбелли и Дина играла «Тумбалатумбалатумбалалайка».

– Не звони, – сказал отец, подошел ко мне и положил трубку на рычаг.

Я обнял его за ногу и стал плакать. А когда поднял голову, увидел, что отец кусает губы и все лицо у него в слезах.

– Черт возьми, – говорил отец, – черт возьми… – И вдруг всплеснул руками, зарыдал, уткнувшись в вытертую до дыр каракулевую шубу Дины.

– Хотите, я вас насмешу, – сказал голос Юрия Давидовича. – Паспорт мадам Глинской в прописке. Ай‑я‑яй. – Он уткнулся лицом в спину отца и тоже заплакал, схватился за живот и стал ходить взад‑вперед. – Ай‑я‑яй!

Вошел человек в пальто с каракулевым воротником и спросил, брать ли вещи. За ним в коридоре возникла Полина в только что сделанной шестимесячной завивке. Она прижала голову к стене и смотрела на отца.

– Вещи, – сказал Юрий Давидович. – За их вещами на грузовике приезжать надо… С прицепом.

– Привезите пять бутылок коньяка, – сказал отец. – Я вам деньги отдам…

– Да что вы? – обиделся человек и сделал узкие глаза.

Полина захохотала:

– Счас принесу на лимонной корочке. – Взяла с вешалки чью‑то авоську, и они пропали.

– Иди, – сказал отец, вытирая лицо. – Я сейчас…

И мы с Юрием Давидовичем пошли.

На кухне все ели борщ с чесноком. За эти два дня мы с мамой не ели супу.

– Спой, мальчик, – сказал Юрий Давидович, усаживаясь, заспанному Момбелли. – Не стесняйся, что ты еврей, постарайся зато стать умным.

Момбелли отложил себе мозговую кость, и они с Диной запели.

За окном кухни шел густой, я такой с тех пор не видел, снег. За снегом угадывался дом, в котором мы жили раньше и куда нам надо было опять идти жить, с колоннами, отражающими свет. По двору ехал черный ЗИС. Жарко горел газ. Отца все не было, его тарелка с борщом остывала.

– У меня изжога, – сказал я и вышел.

Отца не было ни в уборной, ни в нашей комнате, нигде.

– Эй, – кричал я. – Эй!

И выскочил во двор. Наделенный новым правом, я полез через решетку в наш бывший двор, зацепился брючиной и обернулся.

Тр‑р‑р – длинный дурачок заводил мотоцикл, вокруг прыгала и скулила борзая.

Я вбежал в старую нашу квартиру. Дверь была не заперта. Надька мыла пол в кабинете отца. Она улыбнулась мне такой счастливой улыбкой, сколько уж лет прошло, не забуду. Голова у Надьки была наголо обрита, от этого уши и зубы казались огромными, как у волка.

Мы одновременно услышали треск мотора, удар, крик, собачий визг и поняли, что это сбили отца. Из‑за снега видно было плохо, Надька рвала раму, лопалась бумага, мы что‑то кричали. Длинный дурак мотоциклист сбил того с пуделем и разбился сам. Медленно собирался народ, и металась борзая. На этом фоне возникает мой голос:

– Больше я никогда не видел отца. Через час объявили о болезни, а через два дня о смерти Сталина. Всем было не до нас. Сначала мы думали, что отца посадили. Но нам объяснили, что это не так. После, когда вышли из тюрьмы врачи и расстреляли маршала Берию, мама согласилась на некролог об отце в газете. Общие слова. После некролога нам вернули квартиру. Но я‑то понимаю, что отца убили. От них всего можно было ожидать. Теперь это широко известно. Убили и все. Ах, папа мой, папочка!

Мимо собирающихся под снегом людей, разбитого, врезавшегося в столб мотоцикла, мертвого пуделя и его хозяина проходит Леша Глинский в старом пальто и, ссутулившись, пропадает в полутемном переулке.

Облака неслись, как огромные птицы, и будто прямо на голову Феди Арамышева, когда он вышел за зону. Был он с сидором и в валенках с калошами, – обещали сапоги, да не дали.

У вахты стояли бабы и телеги тоже стояли. Бабы приехали покупать себе мужиков, торги шли незатейливые.

– Я тебе костюм куплю, – говорила одна в красных шароварах. – Бутылка по субботам… Куды ты такой пойдешь, кто тебя ждет.

Был праздник 9 мая шестьдесят третьего года. На единственной чистой площадке, выложенной кирпичом, играл оркестр из зэков. Выход из зоны был во флагах, а лошади и телеги украшены искусственными цветами.

– Либерти, – сказал Федя младшему лейтенанту, начальнику оркестра.

– Чего? – рассердился вдруг тот. – Мало вам десяти, вы скажите, мы добавим.

– Либерти – по‑английски свобода, – Федя пошел по площади, посматривая на свои валенки.

Никто из баб к нему не подошел. Как думал Федя, именно из‑за валенок. И хотя он не собирался здесь оставаться, ему стало обидно. Он показал рублевку проезжающему лесовозу, залез в кабину, и они поехали.

Водила изловчился и крючком выдернул у бредущего по обочине очкастого зэка мешок. Проехал немного и бросил. И они с Федей стали смеяться, глядя назад, на уходящую зону и на перепуганного зэка, бегущего к мешку.

Лесовоз катил по огромным лужам, в которых отражались тучи, мимо пекарни, из которой валил пар, по загаженной, усыпанной бревнами, освободившейся из‑под снега и оттого особенно исковерканной земле. Домишки были тоже во флагах, дети шли в школу с искусственными цветами. Встречные, как назло, были в сапогах.

– У меня прописка московская, – сказал Федя. – А ее имеет только каждый восемьдесят третий. Начальник зоны и тот не имеет. Москва вэри вэл, бьютифул, – и разъяснил: – Меня в зоне фраеришка английскому выучил.

– Матюгнись по‑английски, – попросил шофер и продал Феде заточку, их у него было десятка полтора на выбор.

– Такие знания он мне дать отказался, а зимой умер.

– Сука он, – сказал водитель. – Глаз ему выдавить.

– Падла, сучья кость, грызло, – согласился Федя. – Помойка блядская…

– Педрила позорная, – совсем рассердился водитель. – На пику таких.

Так, катя под сереньким небом и моросящим дождем, они поносили несчастного уже умершего Фединого учителя, постепенно входя в раж, крича и хохоча.

Подъехали прямо на перрон к кассе, растерялись, Федя обменял справку на билет и, глядя на выставленные новые, не очень дорогие сапоги, купил две бутылки портвейна, велюровую шляпу и пепельницу в виде гуся.

Сразу же подошел поезд, таблички на вагонах забавные, южные, сортиры в вагонах не закрыты, из сливных труб текло. Федя с водилой побежали вдоль состава, держась подальше от зловонных брызг.

– Крючок ему за жопу и в воду, – попробовал вернуться к прежней счастливой теме шофер, но как‑то не вышло. У вагона пожал Феде руку. Федя убрал ушанку в мешок, надел шляпу и тоже хотел что‑то сказать шоферу, но не сказал, потому что не знал, что именно, и полез в вагон, вдруг заробев и устрашившись будущего. Общий вагон спал, в том его конце, куда всунулся Федя, в углу одеялами было отгорожено вроде купе, там принимала проститутка, утро – самое время. Желающих было двое. Федя приценился, почем идет.

– Шесть, – сказала проститутка, пожилая некрасивая баба, отпуская клиента. Это было недорого, но Федя сказал:

– Дорого, – и пошел в другой вагон.

На переходе между вагонами в грохоте и скрежете трущихся железных трапов, в паровозном дыму и дожде мелькнула зона. Зэки шли на работу.

– Трудиться! – заорал им, заплясал Федя. – Пилить до посинения! Рубить до охуения! На свободу с чистой совестью!

Но его никто не слышал. И он пошел дальше.

Нижнее место было свободно. Вагон спал. С верхней полки свешивался край простыни и толстая женская рука, мозолистая, но с маникюром. Рука качалась перед лицом Феди, Федя вдруг ощутил запах, втянул носом воздух и, стесняясь себя, стал нюхать этот воздух и эту руку, боясь, что это заметят. Его затрясло так, что он прижал руки к телу.

В купе проводников за стенкой грохнуло ведро, он испугался и вышел.

Проводники готовились есть. Казах в майке раскладывал по тарелкам горячую кашу с рыбой. Пришла проститутка, столкнувшись с Федей, дала мальчику, видно, сыну, воздушный шарик, налила в ладонь одеколон и стала массировать намятую грудь под кофтой. Казах разлил водку. Один стакан был в подстаканнике, он плеснул в этот стакан поверх водки чая, бросил обмылок лимона, ложку и пошел в тамбур. Федя попер следом. Было холодно, но казах потел и вытирал подмышки.

Вагон был очень старый, даже старинный, такие и сохранились только здесь. В большом хвостовом его тамбуре ярко топилась печь, дверь и непривычные два окна в задней стенке выходили в никуда, в дождь и в серое небо. Была еще, правда, открытая пустая платформа за ним, в которой плескалась дождевая вода. В тамбуре же за кучей угля в боковой открытой двери курил, свесив вниз ноги, еще один проводник, а может электрик, кто их разберет. Полуголый казах отдал ему чай‑водку, высунулся на улицу, хотел запеть, но не запел и вернулся в вагон.

Федя же, напротив, попросил подвинуться, сел рядом и тоже стал курить и смотреть на божий мир. На проводнике были вполне хорошие сапоги.

Федя рассердился и стал его рассматривать, проводник тоже повернулся к нему, потом к топящейся печке. Это был Глинский.

– Вери лонг вэй ту хоум, – сказал Федя, подняв вверх корявый палец на трехпалой своей ручище. – Что означает – весьма долгий путь домой. – Удивился немного, что его не расспрашивают о знании английского, и, кивнув подбородком вперед, добавил: – Либерти!

Поезд шел не быстро. Пыхтел паровоз. Клочья дыма мешались с дымками от Фединого «Памира» и трубки Глинского. Все было в легкой пелене дождя. Перед ними в клочьях болот, жухлой травы и нищенских деревень скрипела и тянулась их страна. Грязный холм и сгорбленная фигура пастуха с одинокой коровой, и переезд с костром, и далеко со слепой неподвижной водой озеро. И обоим было невдомек, что уж, наверное, и встречались они, и проходили друг мимо друга, живя на одной и той же улице.

– Либерти, блядь, – закричал Федя, почувствовав, что проводнику нравится, что он говорит, первому из всех встречных нравится.

– Иес, литл леди, фри бекс фул… – Глинский вдруг засмеялся, прикрыл рукой с трубкой глаза. Слова выскочили из детства, как из сна, к тому же он был слегка пьян.

Федя медленно подтянул ноги и сел боком, он был потрясен.

– Скажи, мужик, честно, тебя кто учил?

Глинский не ответил, курил, смотрел на озеро, на низкую смоляную баржу под нечистым парусом, на дождь, на дым, на паровозные искры.

– Ах, гад, – Федя встал на колени, его опять трясло, на этот раз от бешенства. – Ты откуда здесь взялся, змей?! Рогов много, так я тебе их сейчас спилю. – И полез было в карман за заточкой, в жизни не сумел бы ткнуть, так – попугать, но тут же ощутил страшный удар по голове, будто голова треснула, будто на нее что‑то упало, мешок с углем, что ли. Но ударили доской.

– Ну ты, мартышка, – мирно сказал казах в майке за его спиной. В одной руке у проводника была связка паяльных ламп, в другой – доска. – Билетик предъяви.

– Да я же отдал, – крикнул Федя.

– Не было, – проводник подтолкнул Федю доской в спину. – Давай прыгай, пока в гору едем. Хрена не хрена. – Был он, как и Глинский, выпивши. Глинский стянул с Феди мятую шляпу, прочитал изнутри название фабрики, подумал и выбросил.

Шляпа метнулась и пропала.

– Хэт, – сказал Глинский. – Была хэт и нету.

– Мужики. Мужики. – Федя заплакал, ужасаясь тому, что сейчас будет. – Я же с шутки, – и трясущейся трехпалой рукой потянул из кармана портвейн. – Выпьем, мужики…

– Да пусть едет, – сказал Глинский. – Он же жулик, слабый мальчик…

Проехали сторожку, возник большеносый стрелочник и, хромая, побежал рядом с вагоном. Глинский передал ему вниз две связки паяльных ламп и принял толстый сырой мешок с рыбой. Затем выбросил из своего стакана лимон, налил под край стакана портвейн и поставил стакан себе на голову.

– Не сдержишь, – сказал казах.

Пришла проститутка с мальчиком, принесла еще портвейна и патефон с пластинками. Мальчик привязал к ручке вагона шарик.

Федя от пережитого страха плакал. Лицо Глинского было мокрое от дождя.

– Я тут прочел про парусник, но забыл, – сказал Глинский и выпил свой портвейн.

Проститутка дернула проволочку, патефон заиграл.

Проводник‑казах стал разливать, и Глинский опять поставил стакан себе на голову.

– На спуске не сдержишь, – сказал казах.

Камера стала удаляться от этого тамбура, от кривого вагона, пустой платформы, да и от всего поезда.

Играл патефон, кашляла проститутка, Глинский все сидел со стаканом на голове, покуда был виден.

Пошел спуск, на глазах темнело, и было как‑то непонятно, то ли озеро отражает облака, то ли туман, то ли облака сели на воду.

В окнах вагонов зажигался неяркий свет, в хвостовом тамбуре поярче. Кто‑то открыл заднюю дверь, постоял и плюнул.

– Говорят, – сказал голос Феди, – английские лорды такой портвейн после обеда выпивают по рюмке, а у нас рубль тридцать бутылка, а дороже трешки вообще нет.

Забулькало, брякнула посуда.

И казалось, едет не поезд, а дом, и вот‑вот замычит корова.

– Вспомнил, – сказал голос Глинского. – Вот как там написано: ветер давит парус, парус давит рей, рей рвется от мачты, мачта упирается в судно и тащит его по воде. Все совсем просто, так и наша жизнь, мужики.

– И хрен с ней, – сказал голос казаха. – Подумаешь, напугал.

Звуки вагона ушли, вытесненные звуками земли вокруг.

Кашель, смех.

И вдруг голос явственно и четко, будто рядом, громко сказал:

– Хрена не хрена.

В темном небе в разрыве облаков – яркая синяя звезда, больше похожая на лампочку, чем на звезду.

И появилась надпись:

###### КОНЕЦ